ДЕТСТВО В ТЮРЬМЕ
МЕМУАРЫ
ПЕТРА ЯКИРА
Macmillan

SHOUT
SHARE
IT

- Пётр Якир
  -
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - АРЕСТ ОТЦА. АСТРАХАНЬ
  - ПЕРЕСЫЛКА
  - ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
  - ВЕРХОТУРСКАЯ КОЛОНИЯ
  - НИЖНЯЯ ТУРА
  - СЕВУРАЛЛАГ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33

- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46

Пётр Якир
Детство в тюрьме

ПРЕДИСЛОВИЕ

Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!

(Бывшая советская молитва)

Четырнадцати лет
Попал пацан в тюрьму…

Так начинается шутливая «самэстрадная» песенка, в которой поется о вещи нешуточной: о похищенной молодости Петра Якира. Арестованный в 14 лет как сын «врага народа» командарма Ионы Якира, уничтоженного в 1937 г., П. Якир провел в сталинских тюрьмах и лагерях 17 лет, с 14 до 31 — лучшие годы жизни. Книга «Детство в тюрьме» — его воспоминания о первых пяти годах заключения.

Ссылки, тюрьмы, лагеря и расстрел для «ЧСИР» — Членов Семьи Изменника Родины — были тогда обычным делом. Через 30 лет П. Якир подпишет коллективное письмо с выразительным названием: «От оставшихся в живых детей коммунистов, необоснованно репрессированных Сталиным». Письмо о нецелесообразности пропагандирования «заслуг» Сталина с точки зрения интересов коммунистического движения. Как бы мы ни относились к такому критерию, бесспорно то, что «…миллионы… стали жертвами… машины преступлений». Книга Якира — о том, как работала эта машина, как она убивала и калечила.

«По рассказам я понял, что то, что творится в Астрахани, происходит по всей стране, т. е. арестовывают невиновных, бьют и издеваются на следствии, причем приемы тоже одинаковые: конвейер, стойка и т. д.»

В дальнейшем выясняется, что приемы следствия не столь однообразны. Автор узнает о прижигании ушей спичками, ломании пальцев, поджаривании на электроплитках. Самого его тоже пытают — подтягивают вверх в специальной пыточной рубахе.

Независимо от формулировок обвинения, проходившие через ОСО или спецтройку, получали: 80 % — 8-10 лет, 15 % — 5 лет и 5 % — 3 года. А вот и другая инстанция:

«Военная коллегия в основном приговаривала к расстрелу, который приводился в исполнение немедленно. Сразу после

приговора человека выводили во двор или в подвал и там расстреливали. Для того, чтобы выстрелы не были слышны, работали две-три автомашины. При такой процедуре за рабочий день судили приблизительно по сто-сто двадцать человек. Военная коллегия приезжала в областные города раз в месяц и находилась там от трех до четырех дней. К ее приезду всегда было подготовлено нужное количество дел. Только около 20 % получали сроки, обычно от 15 до 20 лет; остальных расстреливали».

С кем только не сидел несовершеннолетний Якир. Священники, французские коммунисты, девятиклассники-«монархисты», 11-летние «террористы». Один, правда уже 13-летний «террорист» сидел за то, что выстрелил из рогатки в портрет Вождя и Учителя. Был архитектор, признавшийся под пытками, что он взорвал непостроенный театр, был «немецкий шпион» — советский летчик, сбивший в Испании 9 вражеских самолетов, был еврей, обвиненный в том, что под видом рыбной ловли считал пароходы, проходящие по Волге, и передавал эти сведения польской разведке. Как поется в той же песенке:

Тра-та-та, тра-та-та,
Волоки в тюрьму кота,
Чижика, собаку,
Петьку-забияку[1],
Обезьяну, попугая…
Вот компания какая!
Вот кампания какая
Была проведена!

О проведенной кампании читатель узнает из книги, я же расскажу об авторе и моем друге Пете Якире.

* * *

Имя П. Якира на Западе справедливо связывают с «Демократическим движением» в Советском Союзе. Иногда о нем даже говорят как о «главе демократического движения». При этом подчас ссылаются на такую оценку его роли со стороны режима. Так ли это? Несомненно, П. Якир пользуется большим уважением и авторитетом у многих из тех, в ком сохранилось чувство человеческого достоинства. Таким отношением к себе он обязан и своему лагерному стажу, и своему мужеству, и своей

непримиримости к язвам сталинизма, и своим выступлениям в защиту прав человека. Однако слово «глава» имеет в данном контексте неприятный политический привкус.

Объективно «демократическое движение» выражается в защите прав человека в рамках советских законов. Субъективные же «движущие» силы — и в этом суть — желание ОСТАВАТЬСЯ ПОРЯДОЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ ТРАДИЦИИ НЕПОРЯДОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ. Как известно, «порядочным называется тот, кто неохотно делает подлость». Это определение пришло из сталинских времен. Тогда не совершить требуемую подлость означало почти наверняка поплатиться головой. Все это «единодушие» и «всенародная поддержка» были вовсе не из-за того, что люди слепо верили. Люди гнали от себя сомнения потому, что усомниться было физически страшно. Страх сковывал, его инерция сильна и сейчас. Но если раньше можно было оправдываться перед своей совестью — дескать, не могли же мы пойти на заведомую гибель, то теперь успокаивать свою совесть уже не так просто. И вот некоторые нарушают эту традицию трусливого молчания, трусливой поддержки. Страх у них, конечно, есть, но еще больше они боятся своей совести. Они открыто отстаивают свое человеческое достоинство. Это — очень сильная позиция. Люди, имеющие моральный долг перед самим собою, не склонны поддаваться на уговоры или шантаж, идти на компромисс. Власти, чувствуя, что их не боятся, сами начинают бояться. Так они боятся П. Якира. Кажутся невероятными те усилия, которые предпринимаются со стороны властей, чтобы помешать ему как-то проявить свое отношение к происходящему. Его специально задерживают — лишь бы не дать ему возможность участвовать в демонстрациях, его не пускают на похороны Хрущева и вообще туда, где он может выступить. За ним регулярно ездит несколько машин. Количество филёров, следящих за ним, не поддается учету. Когда меня познакомили с ним — зимой 1968 г. в фойе одного клуба — я о слежке только слышал, за мной еще не «ходили». Мы — человека четыре — стояли и разговаривали. Внезапно Якир сделал знак глазами. Я посмотрел в сторону, куда он показывал. В кресле, развалясь, сидел хлюст с дегенеративным лицом и университетским значком в петлице. Он делал одновременно несколько дел: позевывал, почесывался и поглядывал в потолок. Каждое из этих занятий должно было свидетельствовать о том, что ему нет никакого дела до происходящего вокруг. Вместе же всё это впервые соединило с жизнью мои теоретические представления о слежке.

Если в КГБ Якира и называют «главой», то это понятно. Во-

первых, режим не захочет его называть иначе, т. к. от «главы» недалеко и до «организации», а оттуда и до Брокс-Соколова[2] с его шпионским поясом рукой подать. Во-вторых, режим не может его называть иначе, т. к. режиму неведома этическая терминология, и он просто вынужден пользоваться убогим политическим жаргоном. Мы же вовсе не обязаны повторять эти пошлости.

* * *

Если уж очень нужно как-то определить «политическое лицо» П. Якира, то лучшим определением будет: АНТИСТАЛИНИСТ. Вот он вместе со своим двоюродным братом в 1938 г. в камере для «малолеток» Астраханской тюрьмы:

«Я спорил со своим братом, который говорил, что все, что происходит — правильно. Мы сидим — правильно, родителей арестовали и расстреляли — правильно, а Сталин — гений. Я же был против происходившего и видел корень зла в садисте, сидящем на престоле».

Больше, чем через 30 лет, в марте 1969 г. П. Якир возмутится кампанией «обеления и возвеличения» Сталина на страницах журнала «Коммунист», официального органа ЦК, и напишет письмо в редакцию (его, разумеется, не напечатают), в котором, перечислив преступления Сталина, назовет его «тягчайшим преступником нашей страны за всю ее современную историю». В письме напоминаются антисталинские решения съездов, антисталинские выступления Подгорного, Шелепина, Демичева, Суслова и показывается, насколько позиция журнала идет вразрез с этими решениями и словами. Вот другое письмо Якира — ответ на обвинение в «предательстве интересов Родины»:

«Если бояться шума на Западе, мы должны раз и навсегда отказаться от критики, самокритики, открытой дискуссии, — от спора, в котором, как известно, и рождается истина. Моего отца, как и многих честных и безвинных[3] советских граждан, погубил сталинизм. Против сталинизма я и выступаю. Вы полагаете, что таким образом я позорю имя своего отца? К сожалению, сейчас наблюдается тенденция смешивать антисталинизм с антисоветизмом. Тем самым сталинщину отождествляют с Советской властью, — вразрез с духом и решениями XX и XXII съездов КПСС».

Петя Якир — один из тех, кто еще не утратил веры в «коммунизм с человеческим лицом». Выступая на поминках по А. Костерину, Якир с восхищением говорил о верности покойного писателя идеалам марксизма-ленинизма, но настоящего,

очищенного от скверны и являющегося единственной альтернативой и капитализму, и сталинскому «социализму». «Это был человек, — сказал Якир о Костерине, — каким бы и я хотел быть, и каким бы хотел видеть своих родных и друзей».

П. Якир — оптимист. В своем открытом письме Андрею Амальрику он, отдавая дань «четкости, честности и беспристрастности» автора брошюры «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», смелости его поступка, убедительному анализу в первой части, возражает против «оценки перспектив Демократического движения», данной Амальриком. Якир пишет:

«Хотя сейчас его (демократического движения — Ю. Т.) социальная база действительно очень узка, и само Движение поставлено в крайне тяжелые условия, провозглашенные им идеи начали широко распространяться по стране, и это есть начало необратимого процесса самоосвобождения».

В знаменитом телеинтервью 1970 года Петр Якир сказал:

«Нас, видимо, арестуют, потому что властям неугодны люди, которые критикуют их. Но дело в том, что обратно уже нельзя возвратиться. Нас не будет, но будут другие. Их уже сейчас много. Много молодежи, и все мыслящие люди в Советском Союзе никогда не вернутся к тому, что было. Будут бить, будут убивать, но, несмотря на это, люди будут думать по-другому».

* * *

По сравнению с описываемыми в книге временами, сейчас в Советском Союзе разгул демократии. По «новой», послесталинской истории тоже кое-что написано. Любознательному западному читателю из доступной литературы можно рекомендовать хотя бы «Мои показания» А. Марченко, «О специальных психиатрических больницах» П. Григоренко, «Хронику текущих событий», письма Л. Богораз о положении заключенных, «Кто сумасшедший?» Ж. и Р. Медведевых. А из официальных документов — акты психиатрических экспертиз. Читая все это (не перед сном, конечно), видишь, как далеко зашел прогресс. Не те масштабы, не те. Жить стало лучше, стало веселее. Один пример сопоставления с воспоминаниями Якира.

«Тех, кто признавался, направляли в спецколлегию областного суда, и они, по крайней мере, видели своих судей; тех, кто отрицал свою вину, пропускали через ОСО или спецтройку, которые являлись заочными внесудебными органами…»

Теперь нет ни ОСО, ни троек. Правда, тот, кто «не

признаётся» в фиктивных политических преступлениях при отсутствии у следствия «материала», запросто может не увидеть своих судей: его могут заочно определить в тюремную психбольницу. Там он далее может иметь некоторые неприятности — его могут «лечить» химическим воздействием на организм, ему могут не давать бумаги и карандаша (как не дают, например, П. Григоренко). Но ведь через несколько лет его могут и выпустить оттуда — разумеется, при условии, если он изменит свои убеждения.

Три тыщи лет тому
У племени Му-му
Обычай был дарить детей языческому богу,
И гибли пацаны
Неясно, почему.
А теперь известно хоть, за что его и что ему.
Прогресс, ребята, движется куда-то понемногу,
Ну и слава богу!..

9. 12. 71

Юлиус Телесин

АРЕСТ ОТЦА. АСТРАХАНЬ

30 мая 1937 года. Накануне мы с отцом были на даче в Святошине, под Киевом. Зазвонил телефон; попросили отца. Разговаривал с ним Ворошилов:

— Выезжайте немедленно в Москву, на заседание Военного совета.

Была вторая половина дня. Отец ответил, что поезда на Москву сегодня больше не будет. Спросил разрешения вылететь.

— Не нужно. Завтра выезжайте первым поездом.

На следующий день в три часа пятнадцать минут дня отходил поезд на Москву. Я провожал отца. Настроение у него было тревожное: он знал, что в течение прошедших недель арестован ряд военачальников, в том числе и Михаил Николаевич Тухачевский.

На прощанье он мне сказал: «Будь настоящим, сын!»

Когда поезд тронулся, я увидел, как несколько людей в форме НКВД вскочили в предыдущий вагон (вагон-салон, в котором ехал отец, был последним).

Вернувшись домой, на киевскую квартиру (мне еще оставалось два экзамена за 7-ой класс), я попросил у мамы разрешения пойти погулять. Она меня просила вернуться не позже десяти вечера.

В 10 часов я распрощался со своими друзьями и подружками, которые гуляли в Мариинском парке, напротив нашего дома, и пошел домой. Милиционер, постоянно охранявший наш дом, ничего не сказал мне. Я обратил внимание, что во всех комнатах нашей квартиры горит свет и окна зашторены. Позвонил в дверь. Некоторое время никто не подходил, потом мужской голос спросил:

— Кто это?

Я ответил.

— А, Петя, — сказал голос, — дело в том, что у твоей мамы приступ и у нее врачи. Иди, еще погуляй.

Я возвратился в парк. Там ко мне пристали сербиянки — погадать; в присутствии моих друзей гадалка сказала: «Родителя своего ты больше никогда не увидишь. Предстоит тебе долгий-долгий казенный дом. Кончится все для тебя благополучно. Будет у тебя жена, двое детей».

Около часа ночи я вернулся домой. Свет в окнах квартиры все горел. На звонок мне открыли дверь, и я увидел двух людей в форме НКВД. Довольно резко один из них предложил мне пройти в кабинет отца. Там за письменным столом сидел крупный

человек с перебитым носом в форме НКВД, с отличиями комиссара 2-го ранга (как потом выяснилось, это был заместитель Ежова — Яков Аркадьевич Фриновский, один из самых страшных палачей-истязателей НКВД того времени).

— Долго ли тебя ждать? — спросил он. — Ну, а теперь говори, где у вас хранится валюта.

— Во-первых, я не понимаю, что здесь происходит, а во-вторых, я не имею представления ни о какой валюте.

Он быстро встал из-за стола, подошел ко мне и ударил по голове, видимо, не рукой, а чем-то еще, так как удар был сильный. Я упал.

— Щенок! — сказал он. — Уведите его.

Я пришел в себя, меня подняли и отвели в столовую, где на диване лежала мама. У нее был сердечный приступ. Она все время просила кофе. Кроме нее в квартире при обыске были задержаны друзья нашей семьи: Сапронов Сергей Иванович, председатель Лечебной комиссии ЦК КП(б) Украины, и его жена, Вера Александровна Комерштейн, редактор и летчица. (Впоследствии, этим же летом, они были арестованы; он погиб на Колыме, а она, отбыв 8 лет в лагерях, умерла на воле. Сын их, одиннадцатилетний Юра, несколько дней после их ареста жил в квартире один. Каждый день он ходил к окнам НКВД, спрашивал, где его папа и мама. Затем он был отправлен в детский дом. В шестнадцать лет пошел на фронт, несколько раз был ранен; сейчас живет под Москвой.)

Мама внятно не смогла мне ничего объяснить. Обыск продолжался. Было около 20 работников НКВД. Обстукивали стены, вскрывали паркет, в некоторых местах вскапывали сад. К обеду следующего дня все было закончено. Увезли они из нашей квартиры 64 наименования оружия, в основном наградного (золотая и серебряная шашки, винтовки разных систем, пистолеты и даже экспериментальные автоматы — «Дегтяревский» и др.; несколько карт-верстовок, списки военнослужащих Киевского военного округа, находившихся в то время в Испании. Никакие другие документы и даже переписка изъяты не были).

Сам Фриновский никаких объяснений не давал. Один из работников сказал: «Не волнуйтесь. Все выяснится».

На следующий день, поняв происшедшее, я стал вытаскивать из квартиры всякие достопримечательности (подаренные отцу модели танков, самолетов, кораблей, трубки и т. д.) и раздаривать их своим друзьям. В парке я встретил Иру Петерсон, дочь бывшего коменданта Кремля, арестованного за месяц до моего отца. После ареста своего отца она не желала со мной

разговаривать, а тут подскочила и сказала:

— Теперь мы с тобой одинаковые…

Мать позвонила первому секретарю ЦК Украины Станиславу Викентьевичу Коссиору и попросила, чтобы нас переселили в другую квартиру. Он сказал, что пришлет человека, который все устроит. Дни шли, мы продолжали оставаться в той же квартире.

7 июня мать вызвали в Особый отдел НКВД. Приняли ее начальник отдела Купчик и его заместитель Шорох (оба недавно назначенные). Они успокаивали мать, сказали, что все выяснится и будет в порядке. Попросили написать записку отцу о домашних делах, в которой должно быть написано, что все хорошо, Петя сдает экзамены. Мама написала письмо. Прочитав его, они стали говорить, что такое не годится. И стали диктовать, что можно, а чего нельзя писать. После четырехкратной переписки они добились текста, который их удовлетворил.

8 июня ее вызвали повторно, но уже с другой целью. Ей сообщили, что имеется решение о выселении нашей семьи, и предложили выбрать один из трех названных ими городов: Актюбинск, Акмолинск или Астрахань.

Мать выбрала Астрахань, после чего нам было предложено уехать в течение 48 часов. Мать заявила, что в такие сроки она не может собраться. Ей сказали: «Положено». В этот же день явились люди, которые начали упаковывать вещи.

11 июня днем мы уехали из Киева. Книги и некоторые необходимые вещи, запакованные в деревянные ящики, должны были пойти малой скоростью; вся мебель, посуда, основная часть книг — около 7 тысяч томов — все это осталось в квартире, причем при реабилитации акта на это имущество не оказалось.

На вокзал нас провожали С. И. Сапронов и весь мой класс. Никто из других знакомых не решился прийти проводить нас.

В тот же день в центральных газетах появилось небольшое сообщение, что Особое присутствие Военной коллегии Верховного суда в составе председателя Ульриха и заседателей Буденного, Блюхера, Шапошникова, Белова, Алксниса, Каширина, Дыбенко, Горячева, слушало дело по обвинению Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Примакова, Путно и Фельдмана в измене родине по ст. 58-1Б, 6, 11. Больше в сообщении ничего не было сказано.

Вечером на станции мы купили какую-то вечернюю газету, где было сообщено, что все обвиняемые приговорены к расстрелу. Утром 12 июня, приехав в Москву, прочитали, что приговор приведен в исполнение.

Прокомпостировав билет, мы перебрались с Киевского на Павелецкий вокзал. За два часа до отхода поезда в зале ожидания

появились два человека в форме НКВД, которые пригласили мать в какой-то кабинет, тут же на вокзале. Продержали ее около полутора часов. Приблизительно за полчаса до отхода поезда она вернулась к нам вся заплаканная. В поезде мать рассказала, что от нее требовали отречения от отца, доказывали его виновность. Она отказалась дать отречение, но в поезде все время говорила: «Неужели он мог, не могу в это поверить». Когда мы прибыли в Астрахань, в газете «Известия» было опубликовано без ведома матери ее отречение от отца. Мы даже не показали ей эту газету. Но на следующий день к нам пришла с этой газетой жена Уборевича. Мать, прочитав это, направила в НКВД письмо, где говорила, что заявит свой протест против опубликования отречения, которого она не писала. Ей ответили: «Пишите». Но, учитывая обстановку, мы сказали ей, что это бесполезно, и протест не был написан.

В Астрахани мы остановились в доме приезжих и около двух недель не могли снять комнату. Наконец, жилье нашли. Наша домработница, Мария Яковлевна Прошина, уехала, а приехал отец матери, мой дед, Лазарь Петрович Ортенберг.

В городском НКВД у матери отобрали паспорт и предъявили постановление Особого совещания (ОСО) об административной ссылке на пять лет как члена семьи изменника Родины (ЧСИР), выдали справку, разграфленную на обороте для отметки два раза в месяц по определенным дням.

В это время в Астрахань были сосланы семьи Тухачевского, Уборевича, Гамарника, застрелившегося 31 мая 1937 г., Корка, Фельдмана и ряда арестованных работников НКВД: Островского, Неволина, Штейнбрюка, Маркарьяна, Ягоды; жена Бухарина, в то время еще не осужденного, Анна Михайловна Ларина (дочь знаменитого большевика Юрия Ларина, захороненного у Кремлевской стены), жена Радека, отец Гая (начальника Особого отдела НКВД) и семьи многих других.

Астрахань была к тому времени ссыльным городом. Еще в начале 30-х годов туда был выслан ряд лиц, примыкавших к оппозиции, а также эсеры, меньшевики, анархисты, которых периодически арестовывали. Кроме того, в 1935 году, после убийства Кирова, в Астрахань, как в один из пунктов ссылки, было сослано около четырех тысяч семей из Ленинграда (бывшие дворяне, священники, купцы и их семьи). Можно было встретить графа, работающего сейчас дворником. Ко времени нашего приезда они уже все акклиматизировались и работали, где могли.

В течение двух месяцев никто из вновь сосланных не мог найти работу, так как никакие организации их не принимали. В большинстве у сосланных денег не было, и жили все, в том числе

и мы, тем, что продавали ценные книги, вещи. (Помню, как я сам отнес академическое издание «Слова о полку Игореве» с палехскими иллюстрациями, получив за него сто рублей.)

Столичные дамы два раза в месяц собирались у здания НКВД в день отметки.

В стране продолжался начавшийся ужас. Из газет мы узнавали о новых арестах, самоубийствах.

Мама списалась со своей сестрой, которая жила в Свердловске. Ее муж, Илья Иванович Гарькавый, арестованный еще в апреле 1937 года, как выяснилось потом, покончил с собой на Лубянке-2, разбивши голову о стену. Его жена Эмилия Лазаревна приехала к нам с двумя детьми.

Первого сентября 1937 г. мы, дети ссыльных, пошли в школу. А 3 сентября были произведены аресты всех ссыльных жен, кроме моей матери, Нюси Бухариной (Анны Михайловны), Наташи Маркарьян и жены Гарькавого.

Мы сами присутствовали при аресте жены Уборевича Нины Владимировны. В первую очередь при обысках изымалась личная переписка, на все остальное составлялся протокол. С собой можно было взять сколько унесешь из вещей первой необходимости. Женщины направлялись, как мы потом узнали, в 3-й корпус Астраханской тюрьмы, а дети — в Астраханский детприемник НКВД.

Я перестал ходить в школу и занимался только тем, что нелегально проникал в сад детприемника, подбадривал ребятишек и носил их записки к женской тюрьме, где довольно эффективно перебрасывал их матерям во время прогулок.

14 сентября пришел и наш черед. Я вернулся домой уже тогда, когда посреди комнаты валялась груда вещей, уже подвергшихся «ощупыванию». Обыск производил ст. лейтенант НКВД Московкин. Из деталей обыска вспоминаю два интересных факта. Обыскивающие обнаружили книгу немецкого издания, касающуюся новой немецкой армии, на обложке которой была нарисована свастика. Этому они очень обрадовались, считая, что раскрыли новый фашистский заговор. У меня был снаряд от мелкокалиберной пушки, пустой внутри, где я хранил коллекцию иностранных монет. Увидев его, Московкин осторожно подкрался и дрожащими руками взял его.

— Что это?!

Я сказал:

— Открутите головку, и вы увидите, что снаряд пустой.

Он открутил ее, на стол высыпалась груда мелких иностранных монет. Московкин воскликнул:

— Валюта!!!

Уже часов в одиннадцать вечера нас с мамой погрузили на грузовик и увезли. В доме остались дедушка и семья Гарькавых, которую репрессировали вскоре.

Грузовик, на котором мы ехали с мамой, остановился у женской тюрьмы. Мне пришлось долго утешать мать, которая рыдала, не желая расставаться со мной. Затем ее бесцеремонно оторвали от меня и, подталкивая, увели в тюрьму, а меня повезли в детприемник, где меня радостно встретили ребята, еще не спавшие. Из детей моего возраста (12–14 лет) там были: дочь Тухачевского — Светлана, Уборевича — Мира, Гамарника — Вета, Штейнбрюка — Гизи, сын Фельдмана — Сева. Остальные были младше — вплоть до восьмилетнего возраста.

Старшие внимательно относились к младшим, осуществляя «материнские обязанности».

Прошло три дня, за которые я успел снискать славу вожака детей «изменников» Родины. Я важно заявлял противной бабе, начальнице детприемника, что дети за родителей не отвечают, и посему к нам должны относиться как к детям, так как были случаи, когда воспитатели называли детишек «змеенышами» и другими подобными словами.

На четвертый день вечером, часов в одиннадцать, послышались шаги. Я лежал на койке, прищурив глаза, и увидел, как начальница детприемника показывала пальцем в мою сторону какому-то мужчине в форме НКВД. Меня подняли, предложили одеться и собраться с вещами. Все дети прибежали в нашу комнату, требуя объяснить, куда меня уводят. Приехавший заверил их, что меня, как наиболее шустрого, первым отправляют, как он выразился, на «трудоустройство», на Рыбный завод в поселок Икряное, куда незамедлительно последуют и остальные. Под плач девчонок я вышел на улицу, где нас ожидал маленький пикапчик[4]. Мы поехали. Возле НКВД мы остановились. Меня завели в дежурку.

Через несколько минут ко мне подошел другой человек в форме НКВД и, наставив на меня наган, закричал: «Руки вверх!» Я поднял руки скорей по глупости: чувства страха у меня не было. Меня тщательно обыскали, и в тот момент, когда ощупывали манжеты брюк, я ехидно спросил:

— Что, танк там ищете?

Обыскивавший огрызнулся и очень обрадовался, когда в маленьком чемодане обнаружил финку-нолевку с ручкой в виде конской головы, подаренную мне еще отцом. Он закричал:

— Холодное оружие!

После чего меня посадили на скамейку, на которой я просидел около трех часов. Я закурил трубку отца, смешав табак

с планом (анаша)[5], который мне дали мальчишки-уголовники из детприемника. В голове закружилось. Мне стало смешно, все показалось неправдоподобным. В этот самый момент пришел какой-то человек и спросил:

— Где Якир?

Я поднялся, слегка шатаясь. Меня повели на первый допрос. Это было в три часа ночи 19 сентября 1937 года.

Перед тем как перейти к описанию первого допроса, хотелось бы вспомнить о некоторых фактах, рассказанных женами арестованных еще в Астрахани.

По рассказам жены Тухачевского, Нины Евгеньевны, 9 июня 1937 года к ней на квартиру в Москве приехал работник НКВД и привез записку от мужа, Михаила Николаевича, почерк которого она узнала. В ней значилось: «Любимая Ниночка, пожалуйста, испеки нам с Ионой (мой отец) яблочный пирог». Она ответила, что приготовит пирог. На следующий день сотрудники приехали за пирогом. Это было накануне суда. Видимо, это было последним желанием обвиняемых.

Почему Михаил Николаевич сказал «…нам с Ионой» — остается загадкой, так как сидели они раздельно.

По рассказам жены Гамарника, Блюмы Савельевны, 31 мая утром к Яну Борисовичу Гамарнику, который лежал в тяжелом состоянии (обострение диабета) у себя дома, приехал его заместитель Булин и, якобы, В. К. Блюхер. Они ему сообщили об аресте Якира и Уборевича и, поговорив немного, уехали. Через некоторое время послышался гул мотора, раздался звонок в дверь. Жена Гамарника пошла открывать. Ян Борисович попросил дежурившую около него сестру что-то принести из другой комнаты. В тот момент, когда дверь открылась, в комнате, где лежал Гамарник, раздался выстрел. Приехавшие крупные чины НКВД оттолкнули жену Гамарника и бросились в комнату, но было уже поздно — он был мертв. Несмотря на это, они обрезали телефонный провод, срочно опечатали его письменный стол и сейф. Через несколько дней тело Гамарника было кремировано; на кремации присутствовали только его жена и Елена Соколовская (бывший секретарь подпольного райкома в Одессе во время интервенции в 1918 году, в то время директор Мосфильма, жена наркомзема А. Я. Яковлева, которая в скором времени была арестована и расстреляна). Урну с прахом Гамарника установили в колумбарии у крематория, но через несколько дней она по чьему-то приказу была изъята и исчезла неизвестно куда.

Забегая вперед, надо сказать, что получившие по 8 лет лагерей по той же формулировке (ЧСИР) жены Тухачевского,

Уборевича, Гамарника, Корка — были расстреляны в октябре 1941 года…

Меня ввели в довольно просторную комнату. За столом сидел тот же самый следователь Московкин, который приезжал за нами домой. Посреди комнаты стоял стул, на который мне предложили сесть. Человек, который меня привел, остался в комнате, все время ходил, иногда становясь за моей спиной. Так как я был «под планом», мне было неприятно, что он стоял за моей спиной. Я каждую минуту оборачивался. Следователь крикнул:

— Не оборачиваться!

— Пусть он не стоит за моей спиной, я не знаю его намерений.

Московкин попросил того не стоять за моей спиной.

Мне же почему-то сам следователь казался большим-большим буржуем в цилиндре, сидящим далеко-далеко от меня, как на иллюстрации в книге «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого.

Записав анкетные данные, следователь монотонно зачитал мне обвинение:

«Вы обвиняетесь в организации анархической конной банды, ставившей себе целью действовать в тылу Красной армии во время будущей войны, а также в пропаганде анархических идей Бакунина-Карелина-Кропоткина среди учащихся школы».

Я заявил, что не знаю, кто такие Бакунин и Карелин, а изданные письма Кропоткина я, действительно, читал. Некоторое время шли препирательства между мной и следователем по вопросу, зачем я и мой двоюродный брат Юра Гарькавый переезжали на ту сторону Волги и катались там на лошадях, которые паслись в калмыцких степях.

— Просто мы любим лошадей, а мой брат особенно.

— Известно, что все это вы делали для тренировки в связи с предъявленным обвинением.

Кроме этого, мне было еще предъявлено показание одной моей соученицы (фамилию ее не помню) о том, что я рассказывал антисоветские анекдоты. Какие? Я тоже не помню.

Через некоторое время в кабинет вошел крупный человек с двумя ромбами в петлицах. Как потом я узнал, это был начальник городского НКВД Лехем.

— Товарищ начальник, не признаётся, змееныш, — сказал следователь Московкин.

— Хрен с ним, — ответил начальник. — Сами подпишем.

— А какое вы имеете право сами подписывать? — закричал я.

Верзила подошел ко мне и четко сказал:

— Тебе теперь о правах не разговаривать.

И, обратившись к следователю, сказал:

— Заканчивай.

Тот позвонил по телефону. Явился охранник. Меня свели вниз, и там, в дежурке, тот же человек, что привез меня из детприемника, сонно сказал:

— Ну, а теперь поедем на трудоустройство.

Мы сели в тот же пикап и поехали. Утром, в начале шестого, мы подъехали к 3-му корпусу Астраханской тюрьмы, стоявшей на реке Кутум. Сопровождающий позвонил в дверь, подал какую-то бумагу, сказал: «Возьмите». Человек в тюремной форме довольно мягко сказал:

— Проходи.

Меня провели в дежурку. Там спал дежурный по тюрьме. Его разбудили:

— Вот, новенького привезли.

Он вяло спросил:

— Осужденный или следственный?

Я ответил «осужденный», так как считал, что вместе с мамой был осужден на 5 лет ссылки.

Халатно обыскав и составив акт на все мои вещи, которые препроводили в камеру хранения, меня с маленьким чемоданчиком подвели к какой-то двери на первом этаже. На двери стоял № 7. Открыли замок, со скрипом отдернули дверь камеры.

— Проходи, — сказал надзиратель.

Я перешагнул порог, и дверь за мной закрылась.

Передо мной была довольно большая камера с двумя большими окнами, на которых были железные козырьки; довольно густо стояли железные кровати с матрацами и одеялами. Но более всего меня поразило то, что все обитатели, которые там находились, а их было около 40 человек, были с длинными-длинными бородами и длинными волосами. Из глубины камеры послышался бас:

— У, какого соколика к нам бросили!.. Он нам сейчас спляшет.

Я растерялся и продолжал стоять у двери. Кто-то другой сказал:

— Ну, что ты пугаешь мальчика. Ты видишь — он маленький.

Ко мне подошел низкого роста человек, взял меня за руку и сказал:

— Проходи, проходи — не бойся.

Провел меня в центр камеры, усадил на койку. Вокруг нас собрались остальные. Мне было немного страшно, потому что у всех был необычный вид.

— Ну, рассказывай, за что и откуда… — сказал тот же бас.

Я начал рассказывать. Как потом выяснилось, это были священники-«илиодоровцы». Илиодор, архимандрит Царицынский, еще в первые годы советской власти бежал за границу. Несколько раз он присылал письма священникам. Этого было достаточно, чтобы арестовать в 1937 году всех священнослужителей Астрахани и Сталинграда, объявив их участниками антисоветской организации, связанной с эмигрировавшим Илиодором. Они все были уже осуждены и получили сроки 5-10 лет.

Кроме них в камере были еще два донских казака со станицы Урюпинская, обвиненные в подготовке казачьего восстания, чего и в помине не было. Несмотря на это, они были осуждены на 10 лет каждый.

Часов в 8 утра принесли пайки. Тогда взрослым давали 600 грамм хлеба, а мне принесли большую пайку, ибо малолетним полагалось 800 грамм. У меня в чемоданчике были конфеты. Сокамерники захлопотали вокруг меня, дали кружку крепко заваренного чая, кусок балыка, кусок сала и даже яичко «вкрутую». Весь день я им рассказывал о себе, матери и отце. Они слушали, охая да ахая, и говорили: «Ну, до чего же дошли, антихристы: малых детей в тюрьму сажают ни за что».

Вечером после ужина (днем была баланда, сделанная из тука — маленькие рыбешки, перемолотые на удобрение; баланды никто не ел, так как у всех были передачи) все собрались около самого пожилого старца, которого звали отец Андрей, и тихо запели песни. Кстати, они пели не только церковные песнопения, но и такие песни, как «Вечерний звон» и далее «Как дело измены». Голоса у них были прекрасные. Акустика в камере тоже. Это производило колоссальное впечатление.

Двери камеры открылись, и два надзирателя стали слушать пение.

Часов в десять вечера все легли спать. Я, получив койку, матрац и одеяло, тоже улегся, но долго не мог заснуть; наконец, заснул. Мне снилось, что отец лежит в гробу в Колонном зале, а я около гроба рядом с Ворошиловым. Вдруг отец встает из гроба. Я и Ворошилов испугались. Я проснулся утром — матрац мокрый. Мой сосед, пожилой священник, качая головой, сказал:

— Это потому, мальчик, что дух твой ослаб. Ты соберись с духом, а то не выдержишь — помрешь. Дух будет силен — и плоть будет сильна!

Так кончились первые сутки. Мне не было тогда еще пятнадцати лет…

На третий день меня вызвал начальник корпуса и

раскричался на меня, почему я обманываю дежурных, заявляя, что я уже осужден.

— Я не знал, что я под следствием, — ответил я. — Я знаю, что я выслан, а, следовательно, и осужден.

Начальник корпуса приказал дежурному немедленно перевести меня в следственную камеру. Я взял свой чемоданчик, попрощался со старцами, и меня повели на второй этаж. В конце коридора у камеры № 12 остановились. Двери открыли, и я очутился в такой же по величине камере, как камера № 7, только в ней было в два раза больше народа. Ходить по камере было трудно: все сплошь было уставлено койками.

Режим в этом корпусе в то время был очень легкий. На втором этаже еще не успели навесить козырьки, и в окна было видно реку Кутум, дорожку, по которой ходили вольные, сетевязальную фабрику и прогулочный двор. Передачи разрешались один раз в десять дней в неограниченном количестве. Народ в камере был разношерстный и разновозрастный. В основном сидели люди «второй категории», т. е. не руководящие работники. У многих было закончено следствие, которое у них проходило в ДПЗ (Доме предварительного заключения) НКВД. Позже ДПЗ стали называть внутренней тюрьмой.

Один из сидевших был рабочий, осужденный по ст. 58-7 (вредительство). Он и его товарищи воровали проволоку на заводе, а из нее рубили гвозди и продавали. Простая кража стала к этому времени квалифицироваться как политическое преступление.

Сидел в этой камере и один молодой человек по фамилии Кашкин. До ареста он работал на тарной фабрике[6] в Астрахани. Как-то его назначили ночным дежурным по фабрике. В эту ночь на фабрике произошел пожар, его арестовали и присудили к трем годам. Это происходило в 1936 году. Родители его наняли хорошего адвоката, который добился снижения срока до 2 лет, а затем подал жалобу в порядке прокурорского надзора. Жалоба была удовлетворена, состоялся пересуд, и срок был снижен до года. Родители обратились еще раз в Верховный суд СССР. Последний отменил приговор и послал дело на новое доследование. Время шло, наступил 1937 год. Доследование вдруг стали вести по ст. 58-9 (диверсия), и вместо желанной воли он получил 10 лет лагерей без права обжалования.

Все сидевшие в нашей камере прошли следствие уже нового типа. Следователи вели себя грубо, кричали, запугивали, а иногда и били. Обычно следствие шло недолго. Некоторые признавались, другие — нет, хотя состава преступления ни у кого не было. Тех,

кто признавался, направляли в спецколлегию областного суда, и они, по крайней мере, видели своих судей; тех, кто отрицал свою вину, пропускали через ОСО или спецтройку, которые являлись заочными, внесудебными органами и судили по формулировкам вроде: ЧСИР, о которой я уже упоминал; АСА (антисоветская агитация); КРД (контрреволюционная деятельность), с добавлениями «Т» или «Б», т. е. «троцкист» или «бухаринец»; СОЭ (социально опасный элемент); ПШ (пособничество шпионажу); ПД (пособничество диверсии); КРА (контрреволюционная агитация). Уголовников судили по формулировке СВЭ (социально вредный элемент).

Сроки по ОСО и спецтройке в основном были стандартными: процентов 80 осужденных получали 8-10 лет, процентов 15 — 5 лет и процентов 5–3 года.

Из людей, в прошлом примыкавших к оппозиции, единственным человеком в нашей камере был Иван Колотилов. Он участвовал в студенческом троцкистском кружке в Москве и с 1928 года неоднократно высылался. Когда его арестовали в Астрахани, от него долго добивались признания, что он в 1932 году «сколотил» в Астрахани кружок молодежи и проповедовал в нем идею невозможности построения коммунизма в одной стране. При подписании 206 ст. (соответствует нынешней 201 — окончание следствия), Колотилов разорвал поясок от кальсон и вытащил справку о том, что в 1932 году он был в Семипалатинске, а не в Астрахани. Следователь разозлился, ударил его по лицу и закричал:

— Все равно тебя осудим!

Дело было предназначено для спецколлегии, оно и пошло в нее. После приговора Колотилов попал в другую камеру, как раз под нами; мы при помощи ниточного парашюта получили от него рассказ о суде и переписывались с ним вплоть до получения ответа на кассацию. По его рассказам, суд спокойно «проглотил» доказательства того, что в этот период его не было в городе Астрахани, и приговорил к десяти годам лишения свободы. Колотилов подал на кассацию, в которой заявил, что он никогда в жизни не говорил о невозможности построения коммунизма в одной стране, так как он считает, что даже социализм не может быть построен вообще. Кассационная инстанция, не обратив внимания на это в высшей степени криминальное заявление, спокойно утвердила приговор.

Сидел в нашей камере один еврей, Абрам Хайкин. Он раньше жил со своими родителями в Польше, арестован был по обвинению в шпионаже. От него добивались признания в том, что он ходил на рыбалку для того, чтобы считать пароходы,

проходившие по Волге, и отправлять эти сведения польской разведке. Следствие затянулось, и Абрам был осужден военной коллегией в декабре 1937 года на 15 лет.

Приближалось 20-летие Октябрьской революции. Вспоминая, что к 10-летию Октября была проведена полная амнистия[7], никто не сомневался в том, что амнистия будет и сейчас.

В начале ноября 1937 года с прогулочного двора послышался знакомый голос. Я пробрался к окну и увидел, что среди гуляющих ходит мой двоюродный брат Юра. Я ему закричал:

— Когда и какими судьбами ты попал сюда?

— Сегодня ночью забрали маму, младшего брата Володьку отвезли в детприемник, а меня — прямо в тюрьму.

Его не допрашивали и не предъявляли никакого обвинения, а так как он был одет в военную форму (он ее любил), то его посадили в камеру к военнослужащим. Надзиратели закричали, чтобы мы не переговаривались, но я уже знал, в какой камере он находится.

На следующее утро я занял позицию у окна, ожидая увидеть брата на прогулке, и очень удивился, когда вдруг увидел еще одного своего сверстника — Сашу Агапова, сына одного руководящего работника на Кавказе, с которым мы были знакомы по ссылке. Радость моя была велика. Он оказался более разговорчивым, чем мой брат. Его арестовали накануне вечером, мать отвезли в женскую тюрьму, а его на допрос к Московкину. Допрос касался его участия в нашей анархической конной банде. Таким образом, вся «банда» была на месте, т. е. в тюрьме.

7 ноября утром все оделись в лучшие свои одежки в честь Великого праздника Октября. После обеда кто-то затянул «Интернационал», это всех взбодрило: гимн подтягивала почти вся камера. В экстазе кто-то снял с себя красную майку и, пробравшись к окну, замахал ею через решетку. Вдруг с вышки раздались два выстрела. Песню сразу прекратили, и все набросились на махавшего с упреками, что он нарушает внутренний распорядок тюрьмы. Через несколько минут дверь камеры открылась, прибежавшие надзиратели потребовали, чтобы махавший вышел в коридор. Он вышел. Через некоторое время пришли за его вещами. Как заявил нам надзиратель, он был переведен в карцер на 15 суток.

Все с нетерпением ждали 9-го числа, думали, что в этот день должен быть опубликован указ об амнистии.

Утром 9-го меня первого вызвали на свидание. Все наказывали мне, чтобы я поподробнее расспросил, что пишется в газетах.

Свидание с дедушкой происходило в присутствии

надзирателей. Я спросил его, читал ли он газеты. Нет, он не читал, но те яства, которые он мне принес, оказались завернуты в свежие газеты, купленные им сегодня.

До революции дедушка преподавал в Петербургской консерватории. После революции он оказался в Варшаве, играл в квартете и объездил с ним весь мир. В 1926 году, списавшись с мамой, он приехал в СССР. Сначала он жил в Одессе со своими родственниками, а с 1935 года — у нас в Киеве. В моем окружении он был единственным человеком, который, не стесняясь, ругал существующие порядки и руководство страны. Когда я его спросил, не слышал ли он что-нибудь об амнистии, он при надзирателе мне ответил:

— Да что ты, разве эти большевики что-нибудь хорошее когда-нибудь сделают?

Он мне рассказал, что из всех, кто был сослан в 1937 году, остались только он, беременная дочь Радека — Соня, племянник Нины Владимировны Уборевич — Славка и домработница Уборевича — Машенька; что живут они все дружно и носят всем передачи; что мама еще в Астрахани, и что он несколько раз ходил в НКВД просить, чтобы меня освободили. А тут вместо этого забрали его вторую дочь Эмилию и второго внука — Юру. Он просил меня не раздавать принесенных лакомств и под конец сказал, что все-таки надеется на мое освобождение. Я попросил передать маме привет, если ему дадут свидание. Мы расцеловались, и он, что-то бормоча, пошел к выходу.

Меня отвели в камеру. Там все на меня сразу набросились. Я сказал, что дед ничего не знает, но что свежие газеты есть. Стали читать газеты. И — о ужас! — вместо долгожданной амнистии — на первой странице красовалось постановление ВЦИК об увеличении наказания по ст. 58-1,2, 6, 7, 8, 9 — до 25 лет, а на 4-й странице было небольшое сообщение о том, что на основании этого постановления уже осуждены два человека на 25 лет как немецкие шпионы. Настроение в камере сразу упало, один из заключенных впал в истерику, остальные только разводили руками и пытались доказать, что одно другого не касается, и что амнистия еще будет.

После обеда меня вызвали и повели вниз. В одной из комнат стоял фотоаппарат на деревянных ножках; меня усадили на стул и сфотографировали в профиль и фас. Затем в другой комнате сняли отпечатки пальцев. Начальник корпуса объявил мне, что на основании распоряжения руководства городского НКВД меня переводят в камеру для малолетних. Меня вернули наверх, где я взял свои вещи, и повели в другую сторону коридора. Подойдя к двери с номером 21, надзиратель мне сказал:

— Смотри, в обиду себя не давай.

А за дверью в это время слышались крики, смех, ругань. Надзиратель отворил дверь, вошел вслед за мной и, обращаясь к находящимся в камере, строго сказал:

— Не вздумайте его обижать. Пальцем тронете — всех в карцер пересажаю.

Ребятишки, которые сидели в камере, были все, кроме одного, меньше меня ростом. Один, покрупнее, звался Иваном-попом и был главарем в этой камере. Все, за исключением двух, сидели за мелкие кражи. Двое — Абаня и Машка (это были их клички) по статье 58-8(по обвинению в терроре). Они были детдомовцы[8], обоим было по одиннадцати лет (для того, чтобы их арестовать, их провели через медицинскую экспертизу, где незаконно «установили», что им по 13 лет). В компании еще с тремя такими же ребятами они подожгли жилье ненавистного им директора детдома. Произошло это в Астрахани. Директор, правда, не сгорел, но получил ожоги. Следствие было заведено. Их обвинили в терроре.

Оставшись наедине со своими новыми сокамерниками, я предложил им расправиться с принесенной мне передачей. Они приняли это предложение как само собой разумеющееся. За полчаса передача была ликвидирована.

К вечеру выяснилось, что в соседнюю камеру для малолеток перевели Сашу Агапова, а Юра остался со своими военными.

Ночь прошла спокойно. Утром принесли пайки. Несколько человек отдали свои пайки Ивану-попу. Он их сложил и спокойно стал есть свою. Те, кто отдали пайки, грустно сидели, косясь на евших. Рядом со мной сидел Абаня. Я его спросил:

— Хочешь пожрать?

Он кивнул головой. Я отломил ему половину. Он лихорадочно начал жевать, а Иван-поп, обращаясь ко мне, сказал:

— Не давай этим подлюкам. И так не сдохнут.

Как потом я понял, те, кто отдавал хлеб, просто проиграли его в карты. Увидев у меня книжку Пильняка «О'кэй», ребята спросили, нужна ли она мне. Я ответил, что нет, так как я уже ее прочел.

— О! Прекрасно! Тогда давай замастырим колотушки (сделаем карты).

Я отдал им книгу. Они восхищались прекрасной вощеной бумагой, и «фабрика» заработала. В работу включились все. Одни протирали клейстер из хлеба: раскрошили хлеб в кружку, разбавили водой, получилась кашица. Двое натянули носовой платок, третий деревянной ложкой протер эту кашицу через материю, и на обратной стороне платка образовался молочного

цвета клейстер. Другие самодельным ножом вырезали трафаретки, коптили галошу и получали великолепную сажу; толкли красный грифель, раздирали книжку, разрывая каждый лист на четыре равные дольки. Затем дольку склеивали с другой и клали сушиться. Когда все это высохло и было сосчитано, оказалось, что из этой книги может получиться восемь колод карт. Восторгам не было предела.

Складывая в стопочку по 32 карты, самый крупный специалист по изготовлению карт Иван-поп прижимал дощечкой к полу очередную пачку и довольно шустро обрезал карты, после чего они поступали к другим ребятам, которые проворно прикладывали и отпечатывали уже готовый трафарет красного и черного цвета, — получались почти настоящие карты.

Когда карты были готовы, часть колод быстро спрятали во вьюшку под потолком на случай шмона[9], остальные колоды пошли в ход — уселись играть, поставив одного к волчку, чтобы он его загораживал, если подойдет надзиратель.

Играли в основном в две игры: в буру, или 31, и в стос.

Удивила меня простота нравов в камере. Когда ходили на парашу, это никого не смущало, а под вечер один малый начал заниматься при всех онанизмом. Я был очень удивлен. Но все когда-нибудь бывает впервые.

Выходя на оправку, я оставлял записки в туалете для Юры и Саши. Через несколько дней за забором у реки показался мой дедушка в сопровождении пузатой Сони Радек. Нас разделяли приблизительно сто метров. Я начал махать, но они меня не замечали. Тогда мальчишки предложили мне следующий выход: написать записку, в ней изложить все свои желания, а потом положить ее в кусок твердо смятого хлеба и, не высовывая руки за решетку, бросить его, чтобы он пролетел между прутьями решетки. Первый же бросок был удачным. Дедушка подобрал комочек, развернул записочку и дал мне знать, что он все понял.

Так как большинство ребят было из детдома или приезжие, то к ним никто не приходил, и они ничего не получали с воли. Они сразу же попросили меня написать одну записку, чтобы дед купил плану (наркотик из конопли, который употребляется с куревом) и две змейки (тонкие пилки для перепиливания решетки), а как передать, они расскажут, когда все это будет в наличии. Я изложил все это в следующем послании, которое тем же способом переправил деду. Дед все понял и пошел с Соней отдать мне передачу.

Разговоры в камере были исключительно на темы о том, кто, когда и что украл и как прогулял украденное. Все это рассказывалось с большой фантазией и, конечно, с привиранием.

Очень часто в рассказах фигурировали пьянки и девочки. У меня не укладывалось в голове, что такие маленькие мальчики в состоянии общаться с женщинами. Но я ошибался. У одного из пацанов[10] осталась пайка, он сохранил ее до вечера, а вечером спросил у голодающего Машки:

— Пожрать хочешь?

Он ответил:

— Да.

— Тогда снимай штаны.

Это произошло в уголке, трудно просматриваемом из волчка, у всех на глазах. Все это никого не удивляло, и я тоже делал вид, что меня это не удивляет. Такие случаи в дальнейшем повторялись очень часто. Пассивной стороной были одни и те же; им, как парням, не разрешалось пить из общей кружки, применялись и другие унижающие их ограничения. Иногда устраивалось такое состязание: несколько мальчишек одновременно начинали онанировать, и тому, кто кончал первым, проигравшие отдавали на следующий день по одному кусочку сахара.

Мои сокамерники на выдумки были неистощимы: часто кому-нибудь спящему между пальцев рук закладывались полоски бумаги, затем бумага поджигалась; когда она начинала жечь руки, парень просыпался и начинал махать руками. Это называлось «балалайка». То же самое, проделанное с ногами, называлось «велосипед».

В таких развлечениях и, главным образом, картежной игре и проходили дни. Иногда меня просили, и я рассказывал так называемые тюремные многосерийные «романы», черпая сюжеты из прочитанных ранее книг.

Мы имели связь с нижней камерой, куда опускали свой «парашют», получали оттуда деньги, на которые покупали пятикопеечные сайки в ларьке, и отправляли их в нижнюю камеру, где сидели политические подследственные, которым не разрешалось пользоваться ларьком.

Через два дня после контакта с дедом, он, Соня и Слава, племянник Нины Владимировны Уборевич, появились на том же месте, давая понять, что они выполнили поручение. Когда мы вышли на прогулку, им удалось перебросить через забор принесенное. Это заметил надзиратель и начал нас загонять обратно в камеру, чтобы отобрать полученное. Это ему не удалось. В камере мы увидели, что нам перекинули около 40 башей плана (баш — горошинка[11], закладываемая в папиросу). По жестам дедушки мы поняли, что они перекинули не все. В это время на прогулке был Саша Агапов со своими

сокамерниками. Мы им дали понять, чтобы они приняли следующую порцию. Все прошло благополучно, надзиратель ничего не заметил. Им перекинули четыре змейки. Мы через уборную потребовали, чтобы они нам передали пилки. Они нам сообщили, что передадут их только тогда, когда «возьмут решку» (т. е. перепилят решетку). Следующие три дня мы жили «на нервах». В соседней камере пилили решетку, а мы не могли этого делать. Мечта о побеге преследовала нас. Наконец, на вечерней оправке мы получили записку от соседей, что у них все в порядке, и они просят нас около десяти часов вечера устроить в камере шум, чтобы отвлечь дежурного по коридору. Хотя мы и злились на них, но отказать им в помощи не могли. В десять часов мы разыграли шумную драку; на этот шум прибежал не только дежурный по коридору, но и дежурный по тюрьме. Войти в камеру они боялись, а только стучали в дверь и просили прекратить драку. В разгар нашего шума мы услышали выстрел; несколько человек бросилось к окну, остальные продолжали шуметь. В окно не было ничего видно, так как забор был плохо освещен, но слышно было, как карабкались по стене. После первого выстрела раздалось еще три, потом все стихло. Потом мы узнали, что сбежала вся соседняя камера, тринадцать человек: двенадцать воришек и Саша.

Через двое суток все 12 были пойманы, а Саша, несмотря на то, что его ранили в ногу, скрылся. Через полгода он явился в Нижне-Исецкий (около Свердловска) детинтернат, где находились все дети астраханских ссыльных (в то время уже осужденных). Во время второго посещения интерната его задержали, осудили на 8 лет. Позднее он был вместе с Юрой Гарькавым в лагере около Сыктывкара. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Следующий раз дед и Слава перекинули план перед Новым годом. Мы не стали его расходовать и сберегли до 31-го числа.

Вечером 31 декабря, подкурив плана, запивая его сладким кипятком, мы начали горланить песни. Особенно громко получалась старинная блатная[12] песня «О! Петербургские трущобы». Прибежал надзор, но мы забаррикадировали дверь кроватями и продолжали орать. Некоторые из соседних камер слегка нас поддерживали. Около часа ночи вызвали пожарную команду, нас облили из брандспойта и утихомирили, связав каждого в отдельности. А наутро по распоряжению начальника тюрьмы нас четверых (меня, Ивана-попа, Абаню и Колюнчика) направили в первый корпус Астраханской тюрьмы на 30 суток карцерного режима.

Первый корпус представлял из себя громадную трехэтажную с толстенными стенами тюрьму, построенную, наверно, лет

двести пятьдесят назад. А карцер находился в полуподвальном этаже и по форме напоминал каменный сундук. В четырех углах тюремного здания были башни, в каждой башне было по три камеры — круглых, с коридорчиком.

Карцерный режим — это 300 грамм хлеба и раз в три дня черпак баланды.

В том карцере, в котором сидели мы, было очень холодно, а раздели нас до белья. На оправку не выводили; разрешалось только выносить парашу. Мы голодали, дрожали от холода и выли заунывные блатные песни.

За время пребывания в «сундуке» мы огрызком гвоздя выцарапали на стене тюремный лозунг: «Кто не был, тот будет, кто был, тот хрен забудет». Надпись получилась глубокой. Когда нас 31 январи должны были освободить из карцера, дежурный по тюрьме, зашедший в камеру, спросил нас:

— Кто это сделал?

Мы отказались отвечать. И остались в карцере еще на 16 суток. Эти 16 суток мы колотили в дверь, шумели. В эти же дни сочинили песню:

Колокольчики-бубенчики
Динь-динь.
Новый год на славу побузим.
Пусть нас судят и карают,
Пусть баланды нас лишают,
Мы же Новый год не усидим.

15 февраля 1938 года нас выпустили из карцера и повезли обратно в наш третий корпус. Везли уже не на грузовике, как обычно, а в черном вороне[13]. По возвращении нас разделили: меня повели одного наверх, подвели к той камере, из которой меня взяли в карцер, открыли дверь и впустили. А там, вместо бывших воришек, оказались совсем незнакомые мне ребята, среди которых был и мой брат Юра Гарькавый. Даже не познакомившись, меня усадили есть; мне оставили большую миску гороха и две пайки хлеба. Они с утра знали, что меня выпустят сегодня из карцера и приведут к ним. Быстро съев все, я почувствовал себя очень плохо, даже потерял сознание. Очнулся я в больнице. Мне сказали, что у меня мог произойти заворот кишок. Через три дня я из больницы был переведен в ту же камеру.

Пятеро из новых сокамерников были дети ленинградских ссыльных, учившиеся к моменту ареста в 9-м классе. Они сидели по ст. 58–10, 11 — им приписывалось создание организации

монархического толка.

Кроме них, был там еще один калмычонок тринадцати лет, который на первых выборах в Верховный совет, в декабре 1937 года, выстрелил из рогатки в портрет Сталина. Его обвиняли по статье 58-8 через ст. 19 (террористические намерения).

Еще в середине января всех малолеток, сидевших по политическим статьям, объединили вместе, лишили передач и ларька — режим усиливался.

Познакомившись, мы создали общую коммуну, которая именовалась «Плутония». Был составлен устав, который спрятали в ту же вьюшку, где раньше прятали карты. Хлеб делили на три раза и раздавали равномерно — кому горбушку, кому серединку — по очереди. Сахар копился в течение пяти дней, после чего устраивался пир: жгли сахар и с жженым сахаром курили крепкую махорку. Организовавшись в равноправную коммуну, мы вскоре пришли к выводу, что необходимо объявить голодовку, отстаивая свои права. И как-то поутру мы отказались от пищи, заявив свои требования:

1) разрешение передач и ларька;

2) вызов следователей для объяснения состояния наших дел.

После нашего заявления каждые несколько минут стали прибегать то дежурный, то начальник корпуса; сначала они уговаривали, потом кричали и угрожали (в то время для политических объявление голодовки считалось антисоветским актом, и взрослые это делать боялись). К вечеру первого дня приехал начальник тюрьмы и стал кричать:

— Судить мерзавцев будем! Что вам, власть нехороша? Каши мало? Кипяток холодный? Я вам покажу, где раки зимуют!

Мы были непреклонны. На следующее утро нам принесли пайки, мы от них отказались; кроме воды, мы ничего не принимали. Двое суток к нам никто не являлся. Голодовка шла в идеальном порядке. Я спорил со своим братом, который говорил, что все, что происходит, правильно. Мы сидим — правильно, родителей арестовали и расстреляли — правильно, а Сталин — гений. Я же был против происходившего и видел корень зла в садисте, сидящем на престоле.

На четвертые сутки все стали слабеть. Для поддержания общего духа, я танцевал цыганочку в отцовской рубашке, доходившей мне до колен. В обед этого же дня дверь открылась, к нам вошла целая группа начальства: дежурный, начальник корпуса, начальник тюрьмы и человек в штатском, который представился городским прокурором. Говорил прокурор. Он попросил, чтобы мы повторили свои требования. Мы повторили

их. Он ответил, что следователи к нам явятся незамедлительно, ларек разрешат, а вот насчет передач он сделать ничего не может, так как есть циркуляр из Москвы о том, что подследственным передачи запрещены.

От имени камеры переговоры вел я. Я сказал, что мы не снимем голодовки, потому что не может быть, чтобы Москва запретила передачи такой категории, как малолетки, и что Москва еще доберется до самих произвольщиков.

Начальник тюрьмы буркнул:

— Ну, и сдыхайте с голоду.

Они ушли. На следующий день к нам явился начальник корпуса и сказал, что наши требования удовлетворены, родные уже оповещены и сегодня принесут передачу, а следователи приедут завтра. Мы закричали хором «ура!» и сказали, чтобы нам тащили сегодняшний паек. Нам принесли хлеб, сахар и кашу. Мы начали потихонечку, учитывая мой горький опыт, с интервалом в полчаса принимать пищу небольшими порциями. Во второй половине дня нам всем принесли передачи. Чего только в них не было: и бульон, и курица, и утка, и сласти, и курево. Из окна мы опять увидели деда, Славу, родственников других ребят, которые стояли общей группой, махали нам, а мы, облепив окно, отвечали им. Перебросили в хлебе пару записок, где объясняли все, что произошло. Дедушка показывал, что он просил свидания, но ему отказали.

К вечеру мы уже пришли в себя, а через день нам приказали всем собираться с вещами и перевезли в главную тюрьму, определив всех в камеру № 30 на втором этаже, такой же «сундук», как карцер, в котором я сидел. Толщина стены в проеме окна была 2 метра 20 сантиметров. На подоконнике могли улечься три человека; мы его называли «раем». Вместе составленные койки считались «землей», а место под койками — «адом». В «аду» большую часть времени проводил мой братец, добровольно туда залезавший и занимавшийся самоистязанием. Он кусочком стекла, например, ковырял себе руку или вырезал на груди крест и т. п.

В тот же день нас вызвали к следователям, и мы подписали окончание следствия. В делах, кроме единственного допроса каждого из нас, ничего не было. На мой вопрос: «Где же следователь Московкин?» — новый следователь ответил: «Это не мое дело».

Позднее мне стало известно, что Московкин и Лехем были арестованы; первый попал на этап вместе с двумя своими подследственными, военными летчиками, и они его убили в Сызранской пересылке, дважды посадив на кол.

Время шло. Раз в неделю нас выгоняли ночью в коридор и производили тщательный шмон (личный и в камере). Отбиралось все, вплоть до носков и трикотажных изделий, которые можно было распустить на нитки.

Кормили в этот период очень плохо: давали щи из гнилой капусты с червяками и тук.

Перед нами в таком же «сундуке» сидел эсер из Средней Азии по фамилии Альберт. Он сидел с 1922 года, только изредка выходя на ссылку. К этому времени у него было 10 лет тюремного заключения.

Большинство камер, находящихся на 3-м этаже, было занято тюрзаками[14]. Альберт спускал нам на бечевочке книги, присылал свои записи по истории нашего государства, описания некоторых эпизодов своей жизни, комментировал происходящие события. От него мы узнали о том, что осенью 1937 года прошел еще один процесс, где были осуждены Рудзутак, Карахан, Кабаков и др. А сейчас он держал нас в курсе происходившего тогда бухаринского процесса. Он ни на минуту не сомневался, что все признания подсудимых — сплошная выдумка. Мы все верили ему, кроме моего брата Юрия. Обычно после переписки с Альбертом у нас разгорались жаркие споры. Не все ребята еще осознавали, что происходит у нас в стране, но я и многие мои сокамерники уже хорошо понимали всю ложь и вероломство, сопровождавшие массовые аресты. Альберт сообщал нам, кто сидит в камерах, соседних с его. Это были эсеры, меньшевики, анархисты и другие. Им в камеры давали газеты, у них проводились диспуты, жили они тоже своеобразной интерпартийной коммуной. Альберт был переведен в одиночную камеру потому, что возглавил борьбу против тюремного произвола (был кем-то вроде старосты по прежним временам). Он был первым человеком в тюрьме, который вдохнул в меня веру в будущее.

В конце марта, ночью, мы услышали шум на 3-м этаже, свет вдруг стал совсем бледным. В этот момент к нам спустился «парашют» с запиской. Там было написано: «Кажется, нам конец. Прощайте, дети мои. 45-ая камера забаррикадировалась и защищается. По-моему, нас увозят на уничтожение». Мы написали ответ, хотели привязать к веревке, но в это время в его камере раздался крик:

«Что вы делаете?!»

И все стихло, но из других камер на третьем этаже продолжали раздаваться крики и шум. Мы бросились к двери и к окну и начали стучать в зонт (щит, заслоняющий окно, называющийся еще «намордник» или «козырек») и в дверь. Шум и стук раздавались и из других камер. Через некоторое время вся

тюрьма гудела страшным ревом негодования. Изредка раздавались крики уже во дворе. Был слышен рев моторов машин.

Часа через три все стихло. За все это время к нашей камере, несмотря на нарушение нами тишины, никто не подходил.

На следующий день от баландера[15], заключенного-бытовика, мы узнали, что все тюрзаки — 96 человек — по распоряжению из Москвы были вывезены и расстреляны. По преданию, в Астрахани расстреливали на Парбучьем бугре, на окраине города.

В один из дней, когда совершал обход начальник тюрьмы, ему не понравился какой-то мой грубый ответ, и он приказал водворить меня в карцер на 5 суток. В карцере сидело несколько человек взрослых по 58-ой ст. Среди них был заместитель директора треста «Каспийрыба». Он лежал на полу, брюки на ногах у него были распороты, ноги перевязаны. Он пробыл четверо с половиной суток на «стойке». «Стойка» — это более тяжелый вариант «конвейера». «Конвейер» — непрерывный допрос в течение нескольких суток со сменой следователей. При «стойке» же человека заставляют находиться все время в стоячем положении, а когда он сам не может держаться на ногах, его под мышки поддерживают два охранника. Эти меры систематически применялись в тот период на следствии. Еще не потеряв сознания, он почувствовал, что у него на ноге что-то лопнуло — это лопнула вена. Ноги были опухшие как колоды, для перевязки пришлось разрезать брюки. Он был в полуневменяемом состоянии и все время бредил: «Не виноват, не виноват, гражданин следователь».

Через пару дней, придя немного в себя, он рассказал, что по их делу проходит около 80 человек, все руководство треста, и обвиняют их во вредительстве. Большинство под пытками уже призналось в ложных обвинениях. Несколько человек, в том числе и он, держались. Вернее, уже не держались, а умирали от пыток. Он рассказал о том, что из соседнего следственного кабинета выпрыгнул в окно и разбился секретарь Астраханского горкома комсомола Носалевский.

Другой сокарцерник был инженером крупной строительной организации, проектировавшей строительство рейда на Каспии. У них тоже арестовали почти всех, а инженера пытали, прижигая спичками уши и ломая пальцы. Он уже признал, что, якобы, занимался вредительством по поручению неведомого ему агента японской разведки. После того, как он дал показания на себя и на многих своих подельников[16], а также на людей, которые еще находились на воле, он решил взять назад свои показания и просил вызвать следователя. Следователь не приходил. Он стучал в дверь камеры, за что был посажен в карцер. Вид у него был

растерянный, он говорил со всеми таким тоном, как будто просил прощения.

Рассказ «Открылся»

— Откройся! Вынь камень из-за пазухи!

— Я ничего не знаю, я честный коммунист.

— Откройся, Носалевский, все равно бесполезно запираться.

— Гражданин Московкин, я же говорил, что чист, как новорожденный.

— Откройся, а то худее будет. Ты вот девятые сутки не спишь, и нас четверых измотал, и сам себя мучаешь. А зря.

— Мне не в чем открываться. Последние три года я работал первым секретарем Астраханского горкома комсомола. Спросите у людей.

— Спрашивали, и не в твою пользу. Все показывают, что ты махровый троцкист. Если хочешь лечь спать — откройся. Молчишь? Ведь я тоже спать хочу, уже утро. Откройся!

Московкин клюнул носом; в этот момент Носалевский вскочил, схватил мраморное пресс-папье и ударил задремавшего следователя с размаху по голове. А сам — нырь в окно, с пятого этажа.

Первый трамвай остановился перед распластавшимся телом. Было утро 15 сентября 1937 года.

* * *

Сидел в карцере также один военный, который приехал уже из лагеря на доследование. Еще в декабре 1937 года он получил 25 лет по обвинению в измене родине. Измена заключалась в том, что он был дружен с командиром дивизии, который, в свою очередь, хорошо знал моего отца. Ну, а значит, и состоял в «изменнической организации». Судила его выездная сессия военной коллегии. Судебные разбирательства в этой инстанции проходили следующим образом. За сутки до суда обвиняемого переводили в одиночку, там ему вручалось обвинительное заключение. На следующий день его приводили в комнату, где сидело трое приехавших из Москвы. Председательствующий уточнял анкетные данные, затем задавал вопрос: «Признаете ли вы себя виновным?» Ответ не имел значения. Затем человека уводили, а через одну-две минуты заводили обратно. Суд вставал и зачитывал приговор. На судах

военной коллегии не присутствовали свидетели, их показания просто подшивали к делу. Военная коллегия в основном приговаривала к расстрелу, который приводился в исполнение немедленно. Сразу после приговора человека выводили во двор или в подвал и там расстреливали. Для того, чтобы выстрелы не были слышны, работали две-три автомашины. При такой процедуре за рабочий день судили приблизительно по сто-сто двадцать человек. Военная коллегия приезжала в областные города раз в месяц и находилась там от трех до четырех дней. К ее приезду всегда было подготовлено нужное количество дел. Только около 20 % получали сроки, обычно от 15 до 20 лет; остальных расстреливали.

Из рассказов военного мы узнали о новой разновидности пыток: его поджаривали на электроплитках по методу заместителя наркома Фриновского, того самого, который производил обыск у нас в Киеве. Для подтверждения он снял рубашку и брюки, и мы увидели на спине и на заду страшные следы ожогов. Военный после осуждения попал в Прорвлаг, получивший свое название от острова Прорва на Каспийском море, недалеко от города Гурьева. Лагерь занимался ловлей рыбы и ее обработкой. Работа была тяжелая, но рыбы можно было есть вдоволь. Два его друга, военные летчики, один из которых перед самым арестом вернулся из Испании и был награжден орденом Ленина, работали в лагере на моторной лодке. Как-то раз, когда поднялся небольшой шторм, они направили свое судно, на котором находилось еще четыре зэка[17], на юг, уходя от сторожевых катеров. Поднялась стрельба, но ветер был настолько силен, что умелые штурманы ушли из поля зрения лагерной охраны. Их хотела перехватить пограничная охрана, но они благополучно ускользнули в персидские воды. После этого случая всю 58-ую статью сняли с работ, связанных с выходом в море, а военного посадили в центральный изолятор, обвинив в пособничестве побегу. Не найдя, каким образом ему можно добавить срок (он отсидел менее года из 25 лет), его отправили в Астраханскую тюрьму. Он настойчиво требовал, чтобы его направили в какой-нибудь другой лагерь; за это его посадили на десять суток в карцер.

Жизнь в карцере не нарушалась никакими событиями. Все дни были наполнены рассказами. Я до этого сидел только с малолетками и поэтому, как губка, впитывал все, о чем повествовали взрослые. Эти пять суток были для меня очень важным временем. Я многое уже знал от Альберта, а тут своими глазами увидел людей, подвергавшихся пыткам, и слышал их рассказы. Вернувшись в камеру, я рассказал ребятам. Они

возмущались, а мой брат Юра молчал. Через несколько дней я предложил всем объявить голодовку с требованием, чтобы нас или осудили, или освободили. Ведь мы уже сидели восьмой месяц без суда и следствия. Меня в этом начинании никто не поддержал, кроме Юры. Мы решили с ним объявить японскую голодовку, т. е. не пользоваться даже водой. Запаслись махоркой и спичками, спрятав их под подкладку в сапогах. На следующее утро мы потребовали бумагу для заявления и написали, что отказываемся от пищи. Через час за нами пришли. Мы попрощались с ребятами, и нас препроводили в полуподвальное помещение, где находилось отделение смертников. Это был коридор с десятью небольшими камерами, отгороженный от остальных двумя решетчатыми стенками. В камере было два деревянных топчана, на которых мы расположились. В первый день к нам заходил начальник тюрьмы, кричал, что это не его дело судить или освобождать, и что если мы будем упорствовать, то тут и умрем.

На следующий день явился прокурор, тот самый, что приходил в первый раз, просил нас снять голодовку и обещал выяснить наш вопрос. Но мы были неумолимы. Без воды голодать очень трудно: пересыхает во рту, трескаются губы. Мы старались сохранить энергию: по камере не двигались, а больше лежали.

В соседних камерах кто-то был; мы несколько раз слышали, как ночью выводили, видимо, на расстрел; слышалась какая-то возня и стоны. Общаться с соседями не было никакой возможности, так как в смертном отделении дежурили дополнительно три надзирателя, которые все время наблюдали за камерами. В одну из камер привели трех парней, присужденных к расстрелу за изнасилование с убийством. Они кричали, ругались, но к этому времени нам было уже все безразлично. Первые четыре дня мы еще вытряхивали свою махорку и, сделав одну-две затяжки, ложились отдыхать. Голова кружилась сильнее, чем от плана, с каждым днем становилось все хуже, но у нас ни разу не возникла мысль о снятии голодовки. На четвертый день, кроме начальника тюрьмы, который посещал нас ежедневно, стала приходить тюремная врачиха, молодая интересная женщина. Она проверяла пульс, заставляла открывать рот.

На восьмые сутки Юра потерял сознание, его унесли на носилках. Я остался один. В голову лезли самые разные мысли. Внутренне я уже считал себя мертвецом. Давно уже я не мочился. Последний раз капельки мочи были кровяными. На одиннадцатые сутки я потерял сознание. Очнулся я в кровати, около меня стояли две сестры, врачиха и начальник тюрьмы. Глухо я услышал:

— Ну, вы, снимаете голодовку?

Я еле-еле покачал головой.

Юры рядом не было. Он, видимо, был в какой-то другой больничной камере. Меня начали искусственно кормить. Сопротивляться я не мог. Мне делали питательные клизмы, через нос вливали бульон, в вену кололи глюкозу. С каждым днем я чувствовал себя все лучше и лучше.

На 18-й день в палату зашел начальник тюрьмы еще с каким-то человеком и поднес мне к глазам кусок бумаги в пол-листа, расчерченный пополам.

Наверху было написано: «Постановление ОСО при НКВД СССР».

В левой графе: «Слушали дело по обвинению Якира П. И.»

В правой графе: «Постановили: как СОЭ приговорить к 5 годам исправительно-трудовой колонии».

Внизу подпись: «председатель», и красными чернилами фамилия.

Моя просьба была удовлетворена — меня осудили.

Начальник спросил:

— Ну, а теперь вы будете принимать пищу?

Я утвердительно кивнул головой.

Еще около недели я находился в больничной камере, а потом был переведен во взрослую камеру для осужденных. Через день туда же привели и Юру. Он выглядел хуже, чем я. Оба мы еще были слабы.

В камере было около ста человек. За два дня, что мы там находились, в нашей камере покончили с собой два перса, а всего по тюрьме покончило с собой около десяти персов. Дело было вот в чем: по распоряжению из Москвы в один день в Астрахани были арестованы все лица персидского происхождения. Среди них было две категории: одни — те, что жили в России до революции; другие — которые в 1929 году, после восстания против Реза-шаха, бежали из Персии в СССР. Следствие почти не велось, и всем в один день пришло решение ОСО. Тем, кто жил до революции в России, дали по десять лет, а тем, кто в 1929 г. бежал в СССР, — принудительную высылку на родину, что означало для них смертную казнь у себя дома. Они охотно отсидели бы десять лет в СССР, а их друзья, вместо десяти лет заключения, охотно уехали бы в Персию, но жестокость была продумана. И те, кто не желал, чтобы им отрубили голову в Персии, кончали с собой в советской тюрьме.

Каждый день кого-нибудь вызывали на этап, а через два дня вызвали и нас.

Утром я и Юра получили свидание с дедушкой. Он за это

время постарел. Очень просил нас, чтобы мы больше не морили себя голодом.

Во второй половине дня нас вывели на прогулочный двор, там тщательно обыскали, после этого помыли в бане, посадили в черный ворон, привезли на вокзал. Когда нас вели к столыпинскому[18] вагону, мы увидели на перроне дедушку, который грустно махал нам рукой. В «Столыпин» нас затолкали человек по 15 в купе. Поезд тронулся. Начался новый период моих испытаний — пересыльный этап.

ПЕРЕСЫЛКА

В нашем купе были только малолетки: Абаня, Машка и два их подельника, получившие решением спецколлегии облсуда по 5 лет по ст. 58-8. Остальные были знакомые и незнакомые малолетки, осужденные по ст. 162 — за мелкие кражи.

Еще в тюрьме, после обыска, нам выдали по пайке хлеба, одной селедке и по два кусочка сахара.

В одном купе разместить 15 человек — невозможно. Лежать могли только двое на третьей полке. Остальные кое-как уместились сидя. Окошечко было маленькое, размером с форточку, с толстым стеклом и двумя решетками. Та сторона купе, которая выходила в коридор, представляла собой сплошную мелкую решетку. По коридору все время ходили конвоиры. На оправку выпускали по одному человеку. Пить давали одновременно: принесут ведро с водой, каждый выпьет по кружке — и уносят.

В других купе были мужчины и женщины, их набили в таком же количестве, как и нас.

Это был переделанный столыпинский вагон. Сам же Столыпин приказал соорудить более удобные вагоны, мне потом в них тоже пришлось ездить несколько раз. Там сплошная решетка из крупных клеток отделяла конвой от зэков. А этапируемые находились в общем помещении, могли общаться между собой; стоял бачок с водой. Этап в таком вагоне был гораздо интересней и менее суров.

После того как нас водворили в купе, к нам подошел начальник конвоя, в руках он держал кипу пакетов. Это были наши личные дела. Началась перекличка — проверка «товара»: фамилия, имя, отчество, статья, срок. На вопрос о статье, я ответил: «СОЭ». Он сказал:

— Запомни, не СОЭ, а 58–10, 11.

То же самое было с Юркой. Мы тщетно пытались заглянуть сверху, чтобы увидеть, что написано на пакете; удалось только прочитать на пакете Абани: Нижне-Черская МИТКа (Малолетняя исправительно-трудовая колония). Эта колония была нам известна: она находилась где-то на Дону и славилась своим строгим режимом.

Рано утром наш поезд прибыл на станцию Саратов. Вагон отцепили и загнали в тупик. Через некоторое время купе начали открывать по одному и зэков стали выгонять. «С вещами выходи по одному!» — кричал конвой. А затем, как по конвейеру, слышалось: «Один, два, три… десять…» Сначала цифру называл

конвоир, стоявший у купе, затем конвоир — в тамбуре, затем конвоир — у наружной двери вагона. Когда я вышел из вагона, около него, по четыре в ряд, на корточках сидело человек двадцать. Я занял свое место в четверке. Когда из вагона были выведены все, начальник конвоя посчитал четверки, и первый раз в своей жизни я услышал так называемую «молитву», которую мне пришлось потом слушать долгие годы:

«Идти по четверо, не растягиваться, не разговаривать; шаг влево, шаг вправо — считается побегом. Конвой употребляет огнестрельное оружие без предупреждения».

— Понятно?

Следует нестройный ответ:

— Понятно.

— Встать! Вперед! — выкрикнул начальник конвоя, и колонна пошла.

У всех, кроме воришек, было с собой много вещей, идти было трудно, четверки сбивались, женщины начали требовать, чтобы вещи подвезли. В ответ раздался окрик начальника конвоя:

— Стой! Садись!

Все сели. Начальник конвоя начал объяснять довольно грубым тоном, что осталось идти метров двести, а там мы поедем на машинах. Все смолкли. Опять раздалась команда: «Встать!» И колонна тихо-тихо двинулась. Вокруг нас шло человек пятнадцать конвоиров с винтовками наперевес и два собаковода с собаками. Действительно, вскоре мы обогнули забор, за которым стояли три грузовика. Нас погрузили в машины человек по тридцать, конвой стоял по углам кузова. Машины тронулись. Ехали мы недолго, по каким-то большим улицам. Весь город был в зелени, люди ходили в летних платьях. Когда мы подъехали к тюрьме, которую не было видно из-за зелени, нам приказали выйти из машины и разобраться по четверкам. Около получаса мы сидели на корточках: запрещалось садиться даже на чемоданы. Затем вышел дежурный по тюрьме с кипой наших дел. Рядом стоял начальник конвоя. Дежурный начал вызывать по одному. Те же вопросы, те же ответы. Вызванный вставал и проходил через узкую дверь на территорию тюрьмы. Там, немного в стороне, стояли двадцать человек надзирателей, которые обыскивали вновь прибывших. Женщин увели куда-то в глубь тюрьмы. Нас же, прямо на улице, благо было тепло, раздевали и шмонали по всем правилам, т. е. заглядывая во все дырки и прощупывая каждый шов.

После обыска нас привели в баню, вымыли, прожарили[19]. Потом нас, малолеток, увели отдельно.

Территория Саратовской тюрьмы огромна. Довольно далеко друг от друга стоят три трехэтажных корпуса. Главный — первый

корпус — длиннющее пятиэтажное здание. Нас подвели ко второму корпусу и сгруппировали у одной из дверей на первом этаже. Замок открыли, и мы гурьбой вошли в камеру.

Камера была битком набита, в ней было человек около ста. Все располагались на полу: ни коек, ни нар не было. Свободен был лишь небольшой «пятачок» около параши. Среди нас были «честные» воры[20], которые знали, что они являются привилегированными лицами в тюрьме и им не положено размещаться вблизи параши. Кто-то из наших воришек начал продвигаться к окну. Раздался вопрос:

— Эй, оголец, откуда пришли?

— Из Астрахани.

— А Борьку Косого знаете?

— Ну, как же, я с ним воровал вместе.

— Ну, проходите, проходите.

Пока мы тянулись, у окна послышались покрикивания:

— Ну, давай, давай, мужики, потеснитесь. Видите, люди пришли.

— Ничего, ничего. Всем места хватит.

Когда мы подошли к окну, там уже было достаточно места, чтобы мы могли разместиться. Принимал нас саратовский вор 25-летнего возраста — Костя Корзубый. Началось выяснение отношений. Рассортировка произошла быстро. Машку, как педика (так называют мальчишек, которые в заключении исполняют женскую роль), определили поближе к параше. Еще нескольких человек, как неполноценных блатных, отшили от своей компании. Остальных оставили при себе. Костя, узнав мою фамилию, сказал:

— Интересно. Это как же, твой специально взял такую фамилию — Якир? Знаешь, что это значит, если расшифровать? — И, не дожидаясь ответа, пояснил: — «Я Контрреволюционер, Изменник Родины».

Я удивился такой расшифровке, но Костя мне сказал, что уже давно слышал эту легенду.

Тут же они достали громадный кусок сала, горсть сахара, хлеб. Мы поели. Так закончилось первое знакомство.

Камера была заполнена на девяносто процентов «58-ой статьей», было несколько бытовиков и жуликов. В основном были донские казаки, осужденные за «подготовку кулацкого бунта»; представители Заготзерна — за «вредительство, выразившееся в отравлении зерна»; работники Райзо — за «распространение заразных заболеваний среди скота»; агрономы, бухгалтеры, несколько врачей — эти по ст. 58–10.

Сидел в этой камере и саратовский архитектор. Он обвинялся по ст. 58-9 и был осужден военной коллегией на 25 лет. Под

пытками он подписал, что он и его подельники, которых было более 40 человек, взорвали новый Саратовский оперный театр (который к тому времени еще не был выстроен до конца).

Архитектор делал из хлеба великолепные шахматы и играл целыми днями с врачом, который был осужден за знакомство с профессором Плетневым, осужденным по бухаринскому процессу. Он был одним из его учеников.

По рассказам я понял, что то, что творится в Астрахани, происходит по всей стране, т. е. арестовывают невиновных, бьют и издеваются на следствии, причем приемы тоже одинаковые: конвейер, стойка и т. д. Судят заочно или с полным нарушением судебных процедур. Количество арестованных все увеличивалось — из Саратовской тюрьмы последние месяцы уходили по два больших этапа в неделю, в каждом — по тысяче человек, и приходило столько же из районов, следственных тюрем и с пересыльных этапов.

Второй и третий этажи нашего корпуса были отведены под камеры смертников; там находились лица, осужденные военным трибуналом и спецколлегией; проходившие через военную коллегию, как уже было сказано, расстреливались немедленно.

Камеры были заполнены до отказа, так как в ожидании утверждения приговора многие сидели по три-пять месяцев. Некоторым заменяли расстрел 20–25 годами лагерей, других же расстреливали.

К нам перевели одного физика из Саратовского университета, который просидел пять месяцев, осужденный на высшую меру, как участник группового дела. Обвинили их в передаче секретных научных сведений немцам. Дело было, конечно, дутое, но все признали себя виновными. Физик рассказал, что его соседу по камере, председателю одного из колхозов области, осужденному и впоследствии расстрелянному за «вредительство», принесли в передаче какие-то домашние изделия, завернутые в газету, в которой говорилось, что он, физик, и его подельники уже расстреляны. И он не мог заснуть ни одной ночи в течение пяти месяцев, так как на исполнение приговора брали ночью. Теперь же, когда ему заменили расстрел, он не мог сообразить, как ему написать жене, поскольку она считает, что он уже расстрелян.

На следующий день Костя Корзубый предложил мне поиграть в буру на щелчки. Сначала он мне проиграл 10 щелчков, затем еще 20.Затем предложил партию «на расчет» и выиграл ее.

Дальше я проиграл ему еще три партии. Он снова предложил играть «на расчет». Азарт овладел мною, ставка уже была по 200 щелчков в партии. Игра шла с переменным успехом. Но когда я должен был уже 5000 щелчков, я предложил играть «на расчет». И

когда я снова проиграл, то должен был 10 000 щелчков. Тогда Костя встал и сказал, что ему сейчас надо заняться другими делами, а вечером — продолжим. Абаня (он был моим главным опекуном) подошел ко мне и тихо сказал:

— Ну, что ты наделал? Опять жизнь проиграл, как в Астрахани.

Я забыл рассказать о том, что в Астрахани, в малолетней камере, осваивая игру в стос, проиграл 67 паек хлеба, семь дней отдавал, а потом мне скостили долг, предупредив на будущее, что больше пяти паек хлеба проигрывать нельзя, так как человек должен или умереть, или сделать какую-нибудь подлость с голоду, а, значит, такой проигрыш равноценен потере жизни. Я все это учел и больше не играл в таких размерах на хлеб, но такого подвоха, как здесь, не ожидал: для меня игра на щелчки была шуткой. В действительности это была далеко не шутка.

К вечеру Костя вернулся из своих путешествий по камере и предложил мне рассчитаться с ним. Я напомнил ему, что он обещал еще со мной сыграть. Костя ответил, что он устал и потребовал расчета. Делать было нечего, я подставил ему голову, а он с великим наслаждением начал бить мне щелчки с оттяжкой. После 20 щелчков кто-то со стороны сказал, что нельзя бить в одно место. Он с этим согласился и продолжал бить в разные части головы. Получив около 100 щелчков, я уже не знал, куда деваться. Вся голова была в шишках, гудела от каждого нового щелчка, и каждый сантиметр на голове казался сплошной раной. Я взмолился, попросил Костю перенести экзекуцию на завтра. Он остановился, присел и сказал:

— А ты понимаешь, что завтра будет еще больней? Ну, чем ты можешь расплатиться за щелчки?

Я предложил ему все свои вещи, которые на сей раз находились не в камере хранения, а со мной. Он внимательно просмотрел оба мои чемодана и вещевой мешок и счел возможным в расчет за 9850 щелчков взять у меня все, что имелось: шубу на меху, два новых костюма, один из них с жилеткой, две пары шевровых сапог, атласное одеяло и даже шесть пар прекрасных женских трусиков, которые мама случайно положила ко мне в чемодан. Короче говоря, все вместе с чемоданом было уплачено в расчет за нестерпимую боль от щелчков.

Утром голова гудела. Мой братец, молча наблюдавший всю эту вечернюю сцену, вытащил из своих вещей пару сапог и так же молча вручил их мне. Последнее время он не разговаривал со мной ни на какие политические темы, так как на его упрямую голову обрушился такой поток впечатлений, который вряд ли

способствовал укреплению его мнения о правильности действий власти.

Каждый день из нашей и других камер вызывали на этап. И каждый день в камеру поступали новые. Сроки были в основном стандартные. Большинство имело по десять лет.

Как-то ночью Абаня меня разбудил и сказал, что они решили «помыть» (значит, ночью стащить что-нибудь у спящего) колхозничков. Камера спала; несколько воришек тихо подкрались к мешкам, на которых спали люди, и, разрезав их «мойками» (бритва, инструмент для вскрытия карманов, мешков и т. д.), очень искусно извлекли разные продовольственные товары. Я по их знаку принимал и складывал «дары»: сало, масло, сахар, белые сухари, лук, чеснок, махорку, папиросы. Очистили мешков двадцать, снеди было уже больше, чем надо. Юра, тоже уже разбуженный, с одним парнем были направлены за бачком с водой. В этом бачке развели большое количество сахара и накидали туда белых сухарей. Это в тюрьме называется тюрей. Отрезав по большому куску сала, компания в двенадцать человек уселась вокруг бака и, достав ложки, хлебала тюрю вприкуску с салом. Дело двигалось быстро — мы опустошили двухведерный бачок, нажравшись по горло. Закурили папиросы, взяв в рот по конфетке — это считалось высшим шиком. Удовлетворенные едой, мы не могли сидеть на месте. Мы начали озорничать. Поднялся шум. Народ от шума начал просыпаться. Просыпавшиеся обнаруживали пустоты в своих «сидорах» (мешках). Поднялся ропот. Это не смущало наших руководителей, ибо они считали, что совершили вполне законный акт насилия неимущих над имущими. На претензии, раздававшиеся из всех углов, было заявлено, что если недовольные не успокоятся, то можно поплатиться носом, который очень легко отрезать бритвой. Камера затихла. Люди были очень разобщены, никто не хотел подвергаться возможным неприятностям.

Во время ночных хищений Абаня у кого-то вместе с продуктами вытащил двадцатипятирублевую бумажку и теперь, не дожидаясь подъема, предложил Косте сыграть с ним в карты на «чистые» (на деньги). Костя согласился — деньги ценились выше всего. Играли они в стос. За полтора часа Абаня отыграл у Кости все вещи, проигранные мной, а также выиграл Костин костюм и сапоги.

Прозвонил звонок на подъем, и нас выпустили на оправку. Выпускали в две очереди, так как в уборной было всего лишь 20 стульчаков. Мы пошли в первую очередь, а когда вернулись, то увидели, что рядом с дежурным стоят двое мужчин из нашей камеры и показывают пальцем то на одного, то на другого из нас.

Надзиратели, стоявшие в коридоре, начали хватать нас: Костю Корзубого, меня с Юркой и других. Мы визжали, сопротивлялись, царапались, но все-таки были препровождены в рядом находившуюся холодную камеру без окон, служившую карцером. Больше всех пострадал при этом сопротивлении мой Юрка, которому сильно повредили руку. Когда пришел врач, оказалось, что у Юрки внутренний перелом, и ему наложили гипс.

Вообще Юрка был несчастливым человеком. Еще в детстве в Ленинграде ему выбили глаз из рогатки во время «битвы» между двумя районами, здесь сломали руку, а в Коми АССР в 1941 году чуть не убили эстонцы, которым он доказывал, что Сталин непогрешим; в 1942 году он освободился и, прожив всего один день с полюбившейся ему девушкой, пошел добровольцем в армию; он погиб через несколько месяцев после прибытия на фронт, 12 сентября 1943 года.

В карцере я не просидел и суток из пяти, полученных мною, — меня вызвали на этап. Все остальные остались. Абаня сказал, чтобы я забрал все свои вещи. С Юркой мы расцеловались, несмотря на постоянные наши идейные разногласия. Мне было очень жалко оставлять его, он был очень беспомощен и раздавлен: его вера в справедливость не совмещалась с положением дел на воле.

Нас повели к первому корпусу; мы поднялись на пятый этаж и пошли выше. Над всем корпусом простирался громаднейший чердак, набитый до отказа зэками. Их там помещалось около 800 человек. Это была главная пересыльная камера, из нее прямо уже брали на этап. Кого там только не было! Большими группами люди концентрировались по национальному признаку. Грузины, узбеки, чеченцы, азербайджанцы, немцы Поволжья, калмыки; русские же, евреи и украинцы бродили между этими группами как блуждающие атомы. Настроение в национальных группах было приподнятое. Оживленно разговаривали между собой, справлялись о земляках, вспоминали какие-то истории. Здесь можно было встретить пожилого отца и двух сыновей; дедушку, сына и внука. Такие случаи были у кавказцев, которых арестовывали целыми семьями. Наряду с прежними, появился еще один тип политического обвинения — в буржуазном национализме. Срок у большинства был десять лет. В основном проходили через ОСО и спецтройку, на следствии их не очень тревожили: просто арестовывали и судили заочно. Больше всего, как я понял, досталось членам партии и, во вторую очередь, интеллигенции.

Все были с вещами, повернуться негде, но было оживленно, как на громадном восточном базаре. Запомнился мне

грандиозный тюремный концерт. Как только все вернулись с вечерней оправки, в разных углах чердака послышались песни. Сначала пели немногие и вполголоса, а затем возобладал один сильный хор, певший грустные грузинские песни. В концерте принимали участие и украинцы, и русские. Надзор, конечно, потребовал тишины, и концерт закончился.

На следующий день меня и еще нескольких человек вызвали и, пропустив через баню, подвели к воротам, обыскали, вывели за зону, погрузили в грузовики и повезли на вокзал. Вагон, в котором мы должны были ехать, прицепили к поезду, и мы поехали. В пути мы находились часов восемь. Прибыли на место ночью; утром нас стали высаживать.

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

Железная решетчатая дверь столыпинского вагона лязгнула:

— Выходи!

Гуськом по коридору выходили этапники. Конвоиры на расстоянии 100 метров считали четырежды: первый кричал счет при выходе из купе, второй — в тамбуре, третий — внизу, у подножки, четвертый — невдалеке от вагона, где по четыре рассаживались заключенные. Именно рассаживались, ибо стоять запрещалось.

Когда весь вагон был выгружен, начальник конвоя прочитал «молитву».

Десять конвоиров при двух собаках окружили колонну. Раздалась команда: «Встать! Вперед!» Посреди этапа находились около 20 женщин; хорошие, дорогие наряды не шли к их измученным лицам.

Этап вели в пересыльную тюрьму г. Балашова, она была в трех километрах от станции. Дорога была плохая, сплошная грязь. Колонна уже отошла с километр. На перекрестке забуксовал грузовик. Начальник конвоя, ради интереса или любопытства, скомандовал: «Ложись!» Все рухнули моментально в грязь. После команды «встать», которая последовала минуты через три, забавно было наблюдать за тем, как неуклюже поднимались женщины, очищая от грязи свои роскошные наряды.

Еще километр. Справа базар.

Впереди крайний справа высокий мужчина (в прошлом летчик) хладнокровно набрасывает плащ на голову ближайшему конвоиру. Еще секунда — и одновременно с четырех углов колонны рвутся в стороны четыре человека. Конвой растерян, раздаются несколько выстрелов, разноголосые крики: «Стой! Ложись! Стой!»

Вдруг из середины колонны вырывается мальчик лет пятнадцати и бежит в сторону. Он слышит крики, стрельбу, но бежит, сам не зная куда.

Базар.

Он пытается нырнуть в толпу — и оказывается в объятиях рослого милиционера. Затем конвой бьет его прикладами, собака рвет на нем одежду, и под такую симфонию его ведут к тюрьме. Он слышит разговор: «Двое ушли». Глаза натыкаются на два трупа, лежащие у тюремных ворот. Проверив установочные данные (ФИО[21], год рожд., статья, срок), мальчика проводят в тюремный двор. Там бьют еще и еще. Затем, еле дышащего, несут в баню. Он лежит на скамье, не в силах подняться. Никого нет. Он

лежит.

Вдруг появляется полуодетая женщина. Приближается.

— Петя!

— Миля?!

Это его тетка. Ее тоже везут куда-то. Пока она уже три недели здесь, работает в прачечной. Она смывает кровь с его тела. Юрка, ее сын, остался в Саратовской тюрьме.

Приходят люди. Тетка уходит. Его утаскивают в камеру. Полуподвальный каземат, жара около 40 градусов, пятеро грузин по 58-ой статье.

— Ну, ничего, — говорит седой, красивый грузин. — До свадьбы все заживет.

Камера, в которой я оказался, находилась в полуподвальном этаже. На следующее утро мне сказали, что кто-то меня зовет к окну. Я еле-еле двигался и когда пробрался к окну, там уже никого не было, но мне передали полбуханки подового хлеба и кусок сала. «Это тебе передала какая-то маленькая женщина, которая проходила мимо». Я понял, что это была Эмилия Лазаревна Гарькавая, моя тетка.

Через несколько дней она опять подходила к окну, передала мне сахар и сказала, что, наверно, завтра ее увезут на этап. Больше я ее не видел. Как я узнал позже, она попала на ББК (Беломорско-Балтийский комбинат). В начале войны ее отправили с большим женским этапом на станцию Долинка, в Карагандинские лагеря, где она и умерла в 1945 году, за месяц до окончания срока. Младший ее сын Володя, 1926 года рожд., который пробыл до войны в детдоме, погиб 23 марта 1945 года на фронте.

Так завершилась судьба семьи Гарькавых.

Пребывание в Балашове осталось в моей памяти как комок боли. Десять дней, которые я там провел, я ворочался с боку на бок, харкал кровью и стонал. Через десять дней меня повезли дальше. Я оказался в Сызранской пересыльной тюрьме. Она находится на узловой станции, от которой идут дороги на север, северо-восток и юго-запад. Выглядела она очень мило: свежевыбеленное, трехэтажное здание, расположенное четырехугольником; окна выходят во двор. Камеры одинаковые, человек на 15; тогда в них сидело по 60. Почти каждые 20–30 минут кого-то вызывали на этап, а кого-то приводили. Как и в Балашове, здесь была только «58-ая статья» с разных концов страны. Кормили овсяной баландой или щами из гнилых овощей.

В нашей камере было несколько человек, одетых в хорошие кожаные пальто и галифе с кожаными врезами. Я узнал, что это КВЖДинцы, работавшие в прошлом на КВЖД (Китайско-

восточной железной дороге, проходившей по территории Маньчжурии). После продажи дороги Японии, они с семьями были перевезены в Советский Союз, частично сконцентрированы на Дальнем Востоке, частично направлены в Среднюю Азию. А в 1937 году их почти всех арестовали; руководящих работников расстреляли, а остальных заочно осудили по формулиров-ке ПШ, т. е. по ст. 58-6 — шпионаж; мужчин — к 10 годам, женщин, стариков и молодежь — к 5–8 годам лагерей. Это была вторая (после истории с персами) массовая акция, о которой я узнал. КВЖДинцев было несколько десятков тысяч семей. На следствии их тоже не били, т. к. простая принадлежность к КВЖД рассматривалась как вина, не требующая дальнейших доказательств, и предполагающая известную меру наказания.

Каждая новая тюрьма все больше расширяла мои знания о том, что происходило на воле.

В Сызрани я познакомился с московским врачом Соколовским, который имел 15 лет срока и обвинялся в связях с какими-то медицинскими группами, занимающимися, якобы, «отравительством» руководителей партии.

Совсем ненадолго в нашу камеру попал летчик из Киевской авиабригады (фамилию его я не помню). Узнав, кто я, он подошел ко мне и не отходил до момента его вызова из камеры, а произошло это через два часа. Он был в Испании и вернулся оттуда с Павлом Рычаговым[22] весной 1937 года, был награжден орденом Красного знамени, а осенью арестован и осужден на 15 лет за «шпионаж» в пользу Германии. Следствие у него проходило очень тяжело, его били, сломали ногу, и он долгое время не мог понять, что происходит. Добровольцем уехав сражаться с фашистами, раненный в руку, сбивший девять фашистских самолетов, он не мог примириться с тем, что нужно было принять на себя и подписать чудовищное обвинение, а также оклеветать многих своих друзей по Испании. Что это значило? А просто человек после долгих пыток был полностью деморализован, почти невменяем и морально уничтожен.

Уже после суда он хотел покончить с собой, перерезав вену, но это увидели, перевязали, потом избили. Повторить у него не хватило духа. Он очень завидовал начальнику ВВС[23] Дальневосточной армии А. Лапину, которому удалось повеситься в камере. Он рассказал мне, что арестованы командиры авиабригад Зима и Сальников, тоже находившиеся в Испании; командир Киевской авиабригады А. Бахрушин; комиссар бригады С. Немировский; начальник же ВВС КВО[24] Ф. А. Ингаунис, который ехал на смену Лапину на Дальний Восток, схвачен по дороге и этапирован обратно в Киев.

Когда киевского летчика вызвали, я долго не мог прийти в себя, ибо встретился с человеком, знавшим знакомых мне людей и рассказавшим об их трагических судьбах. О себе уже не думалось, на своей судьбе, как говорится, я уже поставил крест; но когда я узнал о других, тем более о тех, кого я считал образцом героизма, на сердце становилось еще тяжелее. Весь этот ужас я объяснял коварством Сталина и его прислужников.

Около двух недель я был в Сызрани. Затем опять столыпинский вагон, а дальше — Челябинская пересылка. В Челябинск мы прибыли рано утром и целые сутки сидели в отцепленном вагоне без движения. Хлеб нам выдавали только на один день, а мы уже были в вагоне вторые сутки; нас не высаживали, не кормили, и на все наши требования заявляли: «Скоро высадят, там накормят!»

Через сутки нас высадили. Оказалось, что рядом с нами находятся еще шесть столыпинских вагонов. Их разгрузили, затем нас всех выстроили в единую колонну (было человек пятьсот) и с громадным количеством конвоя, с лающими собаками, повели через весь город прямо по одной из центральных улиц, перекрыв движение. Колонна была длинная, она все время растягивалась; часто головные ряды останавливали, чтобы подогнать задние.

Нас вели по мостовой, на тротуарах останавливались жители и смотрели на проходящую процессию. В их взглядах не было ни сочувствия, ни осуждения. Идущий со мной мужчина удивился, что нас ведут не в городскую тюрьму. Оказалось, что она переполнена, и мы сидели в вагонах, ожидая окончания строительства нескольких больших бараков временной пересыльной тюрьмы.

Часа через три мы подошли к какому-то сооружению, огороженному новым забором; еще три часа — и мы оказались в зоне. Там было три барака, каждый из которых мог вместить до 1000 человек. Один был уже набит, другие два стояли пустые. Нас прогнали через баню для формальности, так как не было шаек, а многие краны не работали, и всех поместили в один барак. Еще часа два пошло на кормежку. Впервые хлеб, который я получил в тюрьме, имел примесь овсяной шелухи; баланда была из тухлой рыбы. Даже очень голодный, я не стал ее есть. Измученный переходом и баней, я залез на верхние нары (там были сплошные двойные деревянные нары) и хотел было уже уснуть, но рядом со мной образовался кружок, посредине которого сидел старый усатый узбек и священнодействовал.

Перед ним была кучка фасоли, как потом я выяснил, 41 штука, и он занимался гаданием, которое именуется «иумалак». Сначала кучку делят на три, потом каждую еще раз на

три и раскладывают. В гадании употребляются такие термины: «голова свободна», «на сердце камень», «ноги связаны». Почти всем выпадала именно такая расстановка камешков. На следующее утро, после оправки, которая заменяла прогулку, так как выгоняли во двор (где была выстроена деревянная уборная), узбек продолжал свои гадания. Одному из желающих узнать будущее он заявил: «У тебя ноги развязаны: видишь, внизу только один камешек, а по-тюремному это значит, что тебя вот-вот вызовут на этап». Все удивились, так как мы только вчера прибыли. Но минут через пять открылись двери барака, и дежурный выкрикнул фамилию этого человека. Когда тот откликнулся, ему сказали: «Собирайтесь с вещами». Меня сразу же заинтересовала эта мистика, потому что гадание сбылось. Я подошел к узбеку, дал ему пачку махорки (каждый, желающий знать свою судьбу, что-нибудь давал узбеку) и попросил его погадать. Он разложил свои орудия и сказал мне: «У тебя голова не свободна, на сердце лежат два камня, а вот ноги развязаны». Я ему ответил, что на этот раз он, видимо, не угадал: ведь не могут вызывать на этап по одному человеку через каждые пять минут. Но не тут-то было. Не прошло и трех минут, как вызвали с вещами и меня, а чародей был в восторге оттого, что предсказание сбылось.

Во дворе стоял начальник пересылки и держал в руках мое дело. Дважды переспросив мои установочные данные (фамилия, имя, отчество, статья, срок), он спросил меня: «Вы что, сын того Якира?» Я ответил утвердительно. «Сейчас пойдете на этап». Меня подвели к вахте и одного повели в направлении города. Впервые за все время меня спросили, чей я сын, и вообще я почувствовал какое-то особое отношение. Особенность заключалась не в мягкости, а в какой-то настороженности со стороны начальства. Я думал, что меня ведут на вокзал, а меня привели в Челябинскую основную тюрьму. Я думал, что из этой тюрьмы будет формироваться этап, но меня, помыв в бане, поместили в камеру осужденных. Что за этим всем крылось, я не знал.

В камере находилось около 150 человек. На каждой койке лежали два человека, два человека сидели на спинках койки, два человека лежали под койкой, и два человека сидели около койки. Лежащие и сидящие менялись между собой каждые четыре часа. В камере не было свободного клочка, к параше надо было проходить, ступая между людьми. Когда раздавали баланду, то миски передавали из рук в руки. Окна были на три четверти заложены кирпичом, лишь на недосягаемой высоте оставался просвет. Я стал около двери и не знал, куда мне двинуться

дальше. Вдруг из глубины камеры кто-то крикнул, чтобы я пробирался туда. Остальным было сказано, чтобы они меня пропустили, и я потихонечку пробрался к человеку, знавшему меня. Это был в прошлом офицер, в ранге нынешнего полковника; рядом с ним находился инженер чех и еще один — профессор (фамилий их я не помню). Это был, так сказать, штаб камеры. Военный был старостой, а те двое — товарищами старосты. Их удивило, что я попал в эту камеру, так как они еще ни разу не видели малолеток, сидящих по 58-ой статье. Но, узнав, кто я такой, они всё поняли и очень сочувственно ко мне отнеслись.

В этой камере все без исключения были люди, присужденные военной коллегией и трибуналом к расстрелу. Каждый из них отсидел по несколько месяцев в смертных камерах, затем расстрел был заменен большим сроком. Большинство имело по 20 лет, некоторые по 25, некоторые по 15. В основном это были инженерно-технические работники с Челябинского тракторного завода, иностранные специалисты, приехавшие в Союз, военные, партийные работники, а также врачи, педагоги и др. Все они прошли следствие с применением пыток. Большинство подписало смонтированный следствием материал. С грустью рассказывали они, что, не выдержав пыток, подписали фантастические обвинения, касающиеся их самих, а также друзей и родственников. Часто следователи заставляли подписывать обвинительные показания на лиц, им даже не известных. Хотя в смертных камерах знали, что большинству заменят расстрел, все равно ночами никто не спал. В Челябинской тюрьме в смертных камерах сидело по 20–30 человек.

В один из дней, когда нам принесли баланду, дверь за вошедшим в камеру баландером закрыли. Раньше во время кормежки дверь держали открытой, и камера хоть как-то проветривалась. По распоряжению старосты люди, находящиеся у двери, стали стучать, требуя, чтобы ее открыли. Когда последовал отказ, староста пробрался к двери и, с согласия всей камеры, подозвав дежурного по коридору, заявил, что камера отказывается от пищи. Через несколько минут дверь камеры открылась — перед нами стоял начальник тюрьмы.

— Что, жрать не хотите?

Мы объяснили, что в камере душно, и что дверь обычно открывают. Тогда он разгневанно сказал:

— Выносите бачки с баландой.

Их вынесли, и дверь захлопнулась. Мы продолжали возмущаться. Часа через полтора из камеры были вызваны три человека, а через час после этого вызвали и меня. У дверей стояли двое дежурных, которые, взяв меня за руки, повели через

всю тюрьму в другое крыло. Там мы спустились в полуподвальный этаж и вошли в какую-то комнату, где стоял стол. За столом сидел начальник тюрьмы, рядом с ним стоял человек в чекистской форме. Когда меня завели, чекист вплотную подошел ко мне и ударил меня по лицу.

— А ну, рассказывай, кто инициатор этого контрреволюционного выступления?

— Я не понимаю, о чем идет речь? (речь шла об отказе от пищи).

Я попытался объяснить, что никаких инициаторов нет, просто в камере невыносимые условия. Меня еще раз ударили и, не добившись ответа, поволокли в смежную комнату под крик начальника:

— Сейчас после рубашки язык развяжется.

В соседней комнате на меня напялили брезентовую рубаху, длиной больше моего роста, с длинными рукавами; свалили на пол лицом вниз; рукава связали на спине, завернув руки за спину; соединили их с подолом рубашки; прицепили этот узел к веревке, которая проходила через блок, привешенный к потолку… И, пиная ногами по ребрам, начали небольшими рывками подтягивать меня вверх. Сначала я прогнулся, живот еще оставался на полу. Было безумно больно. В тот момент, когда я оторвался от пола, я потерял сознание. Очнулся я через некоторое время, после того, как меня облили водой. Вокруг стояли все те же, а мою руку держал врач в халате и щупал пульс. После этого меня спросили: «Будешь говорить?» Я опять сказал, что ничего не знаю. Окружающие ругались матом. Процедуру с подтягиванием повторили еще два раза. После этого начальник тюрьмы, обращаясь к чекисту, сказал: «Ладно, пускай его отнесут в карцер, а то еще сдохнет, и нам может попасть, так как он по спецнаряду» (по спецнаряду привозили в особо важных случаях).

В карцере я пробыл пять суток. Все это время я лежал, все тело болело. Первые два дня я даже не смог есть свою трехсотграммовую пайку. На пятый день меня вызвали, я еле поплелся. У дежурного по тюрьме находились мои вещи, принесенные из камеры. Меня вывели во двор, вещи поднесли надзиратели, усадили в черный ворон и привезли одного на вокзал. Сдали начальнику конвоя столыпинского вагона, который уже был битком набит. В купе были люди только по 58-ой. Некоторые ехали уже из одного лагеря в другой. Они много рассказывали о лагерях.

От них я услышал рассказы о ББК (Беломорско-Балтийский комбинат на базе бывшего Беломор-канала). Там были лагпункты, история которых восходила еще к началу двадцатых годов —

такие, как Парандовский тракт, где зэков держали в лесу по двое суток, не возвращая в зону до выполнения нормы; Кемь — громадный женский лагерь, где было швейное производство; Шавань и Южный — лагеря для малолеток; Третий водораздел — куда после строительства канала выдворили из Москвы около трех тысяч педерастов; Медвежья гора — где находились мамки: женщины, у которых были дети, родившиеся в лагерях; Сегежа — там были жены «врагов народа»; УЧПП — лагпункт, где находились рецидивисты. В начале двадцатых годов эти лагеря входили в состав УСЛОН'а (УСЛОН — Управление Соловецких лагерей особого назначения), а пароход, который курсировал между материком и островами, назывался «Слон».

К утру мы прибыли в Свердловск. Впервые я увидел черный ворон, на котором было написано «Мороженое» (позже я видел машины с надписями «Хлеб», «Мясо» и др. Это делалось для того, чтобы сохранить втайне переброски зэков). На этом вороне нас привезли прямо во двор Свердловской тюрьмы. Высадили и усадили на пол. Пока нас еще не принимало местное начальство, мы разглядывали тюрьму. С одной стороны стоял длинный трехэтажный корпус старой екатерининской тюрьмы. На окнах козырьки. К нему, буквой «С» замыкая четырехугольник, примыкал пятиэтажный красный кирпичный корпус с большими окнами без козырьков. Это была пересыльная тюрьма, а екатерининский корпус — следственная. По рассказам дежурных надзирателей, пересыльный корпус был выстроен в 1936 году как эвакогоспиталь на случай войны с Японией; но затем в окна вмуровали решетки, и он стал «прекрасной» пересыльной тюрьмой: потолки высокие, окна большие, камеры большие (для обычного времени — человек на 60–70, а в 1938 году в каждой находилось человек 400–500).

Начали вызывать поодиночке и разводить по камерам. Остался я один. Меня почему-то не вызывали, несколько раз подходили и спрашивали, куда у меня назначение, но я сам ничего не знал. Согласно назначению, написанному на пакете, я шел в распоряжение УНКВД Свердловской области, и они не знали, что со мной делать. Было воскресенье. Мне принесли миску баланды и пайку хлеба. Я продолжал сидеть во дворе, греясь на солнышке. К вечеру меня посадили в пикап и повезли. Очутился я во дворе большого дома; некоторые окна, выходящие во двор, были зарешечены. Это оказалась внутренняя тюрьма города Свердловска. Не обыскав, вместе с вещами меня отвели в камеру. Это был «вокзал» — так называются при тюрьмах камеры, где заключенных держат перед этапированием. Камера была оштукатурена, и все стены были исписаны. Надписи были такого

содержания:

«5 января 38 года с „военки“ — к расстрелу, инженер Бауэр, Уралмаш» («военка» — это военная коллегия);

«Умру, как коммунист», число, и опять слова: «уведен на расстрел»;

«Передайте семье (адрес такой-то), что расстрелян тогда-то», подпись.

Я был удивлен, что эти надписи не стерты, тем более, что, судя по датам, многие были сделаны за два-три месяца до моего появления. Были и свежие надписи, сделанные накануне моего прибытия.

Я ходил вдоль стен и читал страшную летопись. В камере я был один. В голове ходили мысли, что меня толке должны расстрелять. Дежурный открыл дверь. Я спросил, что со мной будут делать дальше. Он спокойно ответил, что ночь я переночую здесь, а утром приедет начальство и разберется. Затем он дал мне кусок хлеба и кружку кипятка с сахаром. Это было как-то по-домашнему, и я не отказался. Уснуть в эту ночь я не смог. Я думал о расстреле. Вспоминал Астрахань, Челябинск. То же самое происходило и в Свердловске. Уже больше года шли массовые расстрелы ни в чем не виновных людей. Что же происходило в стране? Когда уничтожали людей, близко стоящих к руководству, это еще можно было понять — Сталин закреплял свою власть, а те, которые помогали ему, менялись как в калейдоскопе. Сегодня ты начальник НКВД или новый секретарь райкома, завтра арестован, а потом — расстрелян. Но когда сажали и расстреливали людей рядовых — инженеров, врачей, писателей — это понять было невозможно. Ведь они ничем не мешали обожествляемому тирану. Видимо, беззаконие распространилось на все ступени государственной лестницы и превратилось в кровавую вакханалию.

Часов в одиннадцать утра меня вызвали из камеры и повели в следственный корпус, в кабинет начальника Свердловского НКВД. Там со мной говорили доброжелательно, сказали, чтобы я не волновался, и что моя судьба скоро определится. Меня увели, посадили в пикап и отвезли в пересыльную тюрьму, где, обыскав, водворили в камеру № 77. В камере находилось по перекличке 562 человека. Контингент был разношерстный, преобладали спецпереселенцы с Урала и из Западной Сибири. Все они были осуждены заочно, большинство на 10 лет. Спецпереселенцы — это выселенные в 1929–1932 годах так называемые «кулаки» и их семьи. На новых местах многие погибли от голода и холода. Теперь чистили оставшихся, обвиняя их в шпионаже, диверсиях, вредительстве, а некоторых — в

подготовке вооруженного восстания.

Через несколько дней я вызвался на работу в кухне, по уборке освободившихся камер и т. п. Удавалось переговариваться с другими камерами, в том числе и с женскими. Одна женщина сообщила мне, что несколько месяцев тому назад через Свердловскую пересылку этапом на восток прошли моя мама, Нюся Бухарина и Наташа Маркарьян, а совсем незадолго до меня в их камере побывала сестра моего отца Изабелла Эммануиловна Белая-Якир. Находясь в обслуге, мы питались неплохо, установился контакт с надзирателями. Иногда по ночам, когда девчонки из малолетней камеры мыли полы, некоторых из нас выпускали в коридор и разрешали провести полчаса с какой-нибудь девочкой в отдельной камере.

Этапы уходили из Свердловской пересылки очень часто, чуть ли не через день, и не столыпинскими вагонами, а эшелонами. Формировался эшелон из 25–30 вагонов. Всех, направляемых на этап, обыскивали прямо во дворе, грузили на машины и увозили. По полдням тюремный двор представлял собой настоящий базар.

Камеры пустели. Так, например, в нашей камере как-то осталось всего 16 человек. Ночью того же дня мы заметили вереницу людей, которая из следственного корпуса тюрьмы шла в наш корпус. Люди шли с мешками, с чемоданами. Минут через десять дверь нашей камеры открылась, и дежурный весело и громко закричал: «Принимайте трамвай» (это означало — пополнение). И такой же вереницей, как шли по двору, они заходили в камеру. Их оказалось около 400 человек. За десять минут, пока они шли от входа в наш корпус до нашей камеры, им успевали объявить решение ОСО. Они проходили мимо столика на лестничной клетке, офицер НКВД спрашивал фамилию; когда ее называли, он объявлял каждому десять лет лагерей, даже не предлагая расписываться в решении.

Был в нашей камере инженер, который рассказывал, что его месяца три тому назад вызвали из следственной камеры, посадили в одиночку и вручили заключение с обвинением в шпионаже в пользу Японии. На следующий день его привели в кабинет, где сидели три человека (это была военная коллегия), которые спросили имя, отчество, фамилию и т. д. Когда он назвал место рождения, его дважды переспросили, а затем велели увести. Все сходилось, кроме места рождения. Так он случайно чуть не попал под расстрел.

Как-то вечером меня вызвали и повели через двор в следственный корпус, в кабинет к оперуполномоченному тюрьмы. Оперуполномоченный потребовал, чтобы я засучил рукава. Рассмотрев мои наколки, он ехидно сказал: «Ты что, блатным

стал? Бежать хочешь? Ну, что ж, попробуй! Завтра уедешь в лагерь. Твое счастье, что я узнал, что ты хочешь бежать, а то еще долго просидел бы здесь на пересылке. Но учти! Уж кого-кого, а тебя мы поймаем где угодно! Это тебе не котлеты с мамой и папой кушать!» (В камере я говорил о желании убежать, и, по-видимому, кто-то «стукнул»[25]).

Через час меня вызвали на этап. Вручили, как обычно, на день хлеба и селедку, повезли на вокзал. Посадили в столыпинский вагон, одного в купе. Когда поезд тронулся, начальник конвоя сказал мне: «Через шесть часов будем на месте. Не спи».

Шесть часов длились очень долго. Наконец, мне велели приготовиться с вещами. Поезд остановился. Я вышел.

ВЕРХОТУРСКАЯ КОЛОНИЯ

В темноте на перроне меня ожидали трое. Пожилой мужчина оказался управляющим Верхотурской малолетней режимной колонии Карташовым, женщина — Людмила Сергеевна Аникеева — старшим воспитателем. Третий был охранник.

Людмила Сергеевна была коммунаркой, то есть воспитанницей Кунгурской трудовой коммуны. В прошлом она была воровкой. Выходцы из коммуны очень часто работали воспитателями в колониях. В 1938 году на бухаринском процессе бывший начальник НКВД СССР Ягода на вопрос прокурора Вышинского «на кого вы опирались?» ответил: «На воспитанников трудовых коммун». После этого заявления большинство коммунаров было арестовано и осуждено как пособники изменников родины на 10 лет по 58-ой статье.

Погребинский, основатель первой коммуны (Саровской, с которой был снят фильм «Путевка в жизнь»[26]), будучи начальником НКВД Горьковской области и не желая соучаствовать в арестах, застрелился. Людмила Сергеевна была одной из очень немногих, кто остался на воле. Она мне рассказывала о том, как их по-настоящему перевоспитывали в наших прекрасных коммунах (Болшевской, Кунгурской, Саровской; в харьковских коммунах, которые возглавлял Макаренко[27]). Почти всех ее друзей арестовали, а она решила до конца отдаться делу уже не перевоспитания, а помощи детям в заключении. Мне она очень сочувствовала и помогала.

С вокзала мы двинулись через весь город к стоящему на бугре монастырю. По дороге Карташов объяснил мне, что их колония находится на первом месте по результатам соревнования между колониями Советского Союза, что актив у них очень сильный, что я должен вести себя хорошо — учиться и работать.

Подошли к воротам, двери открылись. Карташов велел Людмиле Сергеевне отвести меня в общежитие. Там уже все спали. В комнатах находилось по пять-шесть человек. Мне показали койку, я лег и спокойно уснул на чистой простыне, впервые за полтора года.

Когда утром я проснулся, никого в общежитии уже не было. Вышел в коридор, меня увидела Людмила Сергеевна и сказала, чтобы я пошел мыться под душ. Я искупался, она повела меня в столовую, которая находилась у самого большого монастырского строения. Попутно она мне рассказала о колонии.

Колония существовала уже более пяти лет. В ней находились как осужденные, так и не осужденные до исправления. Не

осужденные в основном были до 12-летнего возраста. Режимной колония считалась потому, что здесь содержались рецидивисты и склонные к побегу. В нашей колонии, как и в других, имелся актив из заключенных, который следил за порядком. В него шли воришки второго сорта, которые не соблюдали жульнических законов и не пользовались жульническими привилегиями. Так как их было значительно больше, чем «чистокровных» воров, и их поддерживала администрация, то почти всегда в конце концов побеждали они. Однако между этими двумя группами иногда разгорались настоящие сражения.

В январе 1938 года в колонию один за другим пришли два больших этапа из Москвы и Ленинграда. В этих этапах было много так называемых «честных» воришек. На второй день после их прибытия председатель актива, ссученный вор (то есть вор, который предал кого-нибудь, был отвергнут воровским миром и пошел в услужение к администрации) по кличке Червонец, предложил приехавшим записаться в какую-либо комиссию. Комиссий в колонии было несколько: производственная, санитарная, культурно-массовая. Записавшиеся в комиссию попадали в актив, что было абсолютно неприемлемо для приехавших жуликов. Сговорившись между собой, приехавшие вечером ворвались в седьмое общежитие, связали около 20 активистов, забаррикадировали двери и выбросили в окно белую простыню с нарисованным чернилами фашистским знаком.

Так начался так называемый верхотурский «шумок». Всю ночь их не могли никак одолеть, а утром, когда с помощью пожарной лестницы начали штурмовать, восставшие начали бросать из окон связанных активистов навстречу тем, кто лез по лестнице; активистам, воспитателям, охранникам. Особых травм у выброшенных не было. Кажется, у двоих были переломы. Три дня держались в корпусе приезжие, выкрикивали лозунги, из которых явствовало, что жулики никогда не пойдут в актив. При помощи пожарных брандспойтов их, наконец, усмирили. Всех связали, погрузили на грузовики и увезли в Свердловск. Часть из них вскоре опять вернулась в колонию, а человек 20 самых активных посадили под следствие, обвинив их по 58-ой статье, как инициаторов бунта.

В Свердловской тюрьме, протестуя против применения к ним политической статьи, двое из них совершили убийство; трое, находившиеся в другой камере, перепилили разломанной миской горло одному цыгану. Следствие по 58-ой было прекращено, и их осудили за убийство.

У нас же актив по одному вылавливал остатки непокорных и

подвергал их страшным избиениям. От них требовали целовать ноги у активистов, что означало потерю чести и не давало возможности вернуться в мир «честных» жуликов. После этого они становились сообщниками активистов и еще с большей, чем последние, прытью проводили на следующий же день экзекуции над своими вчерашними товарищами. Так, приблизительно, за месяц всех силой заставили перейти в актив.

В колонии все работали по четыре часа в две смены, учились тоже по четыре часа. Выпускала колония ручные веялки. Меня определили в литейный цех. Сначала учеником формовщика, а затем формовщиком. Норма была большая, но я ее выполнял. За работу в горячем цехе нам выдавали каждый день пол-литра молока. В школе я начал заниматься в восьмом классе. В классе было три человека, осужденных за своих родителей: Володя Бауман, сын члена ЦК КПСС, Коля Ухов, сын работника Свердловского обкома, Миша Медведь, сын начальника НКВД Ленинграда. Все они были осуждены на 5 лет.

С Мишей мы подружились. Он рассказал мне, что в день убийства Кирова вся власть в Ленинграде была передана в руки военных. И как раз мой дядя Илья Иванович Гарькавый, который был заместителем командующего Ленинградским военным округом, фактически стал хозяином положения в городе. Всех работников НКВД на следующий день отстранили от занимаемых должностей и даже не пускали в большой дом, где велись допросы Николаева[28]. Как позднее я узнал, даже Ягоду, который был начальником НКВД СССР, выгнали из кабинета, где при Сталине допрашивали Николаева. Когда он зашел в кабинет, то Сталин спросил: «А этот что здесь делает?». Ягода, растерявшись, вышел, вернулся в Москву, десять дней не выходил на работу, думая, что его арестуют. Но его никто не смещал с должности, и он продолжал еще некоторое время работать.

Уже на воле я встречался впоследствии со вторым заместителем Медведя, Фоминым, который, непонятно почему, остался жив и опубликовал в 60-х годах книгу «Записки чекиста» — о своей работе в гражданскую войну. Это хитрый человек, который, по-видимому, много знает; но даже в комиссии по расследованию «кировского дела», которое велось в КПК при ЦК, он ничего интересного не сообщил. В частных беседах со мной он рассказал о следующих деталях.

Киров был убит 1 декабря 1934 года, около 16 часов, рядом со своим кабинетом и кабинетом Жданова, в тот момент, когда хотел войти к Жданову. Первый человек, который приехал на место происшествия, был Фомин. Рядом с Кировым в бессознательном состоянии лежал Николаев. Первый допрос с

Николаева снимал Фомин. Николаев на первом допросе ничего не говорил, а только просил, чтобы передали его жене и матери два конверта, в которых было по пятьсот рублей, изъятых при обыске в его квартире. Была еще какая-то записка к его жене, о содержании которой Фомин упорно не рассказывал. Поздно вечером прилетел, кажется, Агранов и сразу же отстранил Фомина от ведения следствия. Еще Фомин говорил, что Николаев все время плакал и его рвало. До этого он выпил много пива — это было установлено экспертизой. Я также слышал, что на первом допросе в присутствии Сталина, который вместе с Молотовым и Ворошиловым прибыл в Ленинград 2 декабря, Николаев, обращаясь к кому-то из присутствовавших, кричал: «Вы же мне обещали…» В это время его ударили рукояткой пистолета по голове.

В Москве я беседовал с уже исключенным из партии, но не разжалованным членом Военной коллегии Верховного суда — Батнером, который был в составе коллегии, судившей Николаева. Батнер лично вручил Николаеву обвинительное заключение перед судом. Он говорил, что Николаев был единственным человеком на процессе, который признавал себя виновным и оговаривал других. Все остальные не признавались и даже утверждали, что они не знакомы с Николаевым. Я спросил у Батнера: «А не думаете ли вы, что Николаев был подставным лицом?» Он удивился моему вопросу и ответил: «Я никогда об этом не думал. Но поведение Николаева даже тогда вызывало у меня удивление. Он держался довольно спокойно на суде и говорил очень много».

Заодно передам все, что говорил Батнер и по другим вопросам.

Он рассказал, что суд над моим отцом и другими проходил на третьем этаже здания военной коллегии, где сейчас помещается городской военкомат. Батнер был секретарем на этом суде. Всем командовал Фриновский, заместитель Ежова. В зале сзади подсудимых стояли два кресла, в них сидели начальник генштаба Егоров и начальник военно-морских сил Орлов (которого на следующий день после суда арестовали). Все здание, а также зал, охранялись военными с винтовками. В зале находились еще человек десять командиров высокого звания. Кто они такие, он не помнит. Суд шел гладко. Каждому из подсудимых задавали два-три отвлеченных вопроса. Задавал вопросы один Ульрих, председатель Военной коллегии Верховного суда, советуясь с членами Особого присутствия только для формы. Ими были Буденный, Дыбенко, Шапошников, Блюхер, Алкснис, Каширин, Белов и Горячев. (Горячев, командир

конного корпуса им. Сталина, застрелился через несколько дней после суда.)

Во время суда было только две заминки. Одна — когда Блюхер, ссылаясь на болезнь живота, попросил разрешения уехать. К нему приехали домой, чтобы он подписал приговор. Вторая произошла после вопроса Шапошникова Уборевичу: «Иероним Петрович, а может быть, плохая защита Пинских болот была преднамеренной ловушкой для немцев. Вы хотели их заманить и окружить?» Ульрих цыкнул на Шапошникова и велел Уборевичу не отвечать. Моего отца, по словам Батнера, спросили: «Знали ли вы о том, что офицер, приставленный к вам во время учебы в Германии, был сотрудником немецкой разведки?» Отец ответил, что он в этом не сомневался, но сведения получал не офицер у него, а он у офицера.

Перед концом судебного заседания мой отец потребовал, чтобы на суд пригласили Сталина, так как он считал, что Сталин ничего не знает. Примаков бросил ему в ответ реплику, что Сталин не только все знает, но даже все это организовал.

Суд длился около четырех часов. После зачтения приговора осужденные взялись за руки и запели «Интернационал». Комендантом присутствия был Егоров. Все рассказы о том, как вели себя люди при исполнении приговора, исходят от его адъютанта. Батнер все время был членом военной коллегии. Он присутствовал в этом же здании и осенью 1941 года во время суда над Павловым и другими[29]. Он рассказал, что Ульрих все списки с приговорами, на которых были резолюции Сталина и других, хранил в сейфе. Он никогда не показывал эти документы, но члены военной коллегии ни о чем и не спрашивали.

Сразу же после убийства Кирова был опубликован закон о ведении дел по террору, подписанный Калининым еще 1 декабря 1934 г. Как могло получиться, что в день убийства Кирова, когда еще не было закончено расследование по делу, уже был подписан этот антиконституционный закон? Он гласил:

1) следствие по делам о терроре вести не более десяти дней;

2) суд осуществляется при закрытых дверях и без участия сторон;

3) приговор — расстрел — обжалованию не подлежит и приводится в исполнение сразу же после суда.

По этому закону впоследствии расстреляли много тысяч людей. Он был очень удобен Сталину, позволяя ему быстро и без шума отправлять честных людей на тот свет. Я думаю, что этот закон был подготовлен заранее, а для его введения необходим был повод. Это косвенно подтверждает, что Киров был убит по приказу Сталина. Охранник, который, якобы, отстал от Кирова,

был убит сразу же, когда его везли на первый допрос. Затем расстреляли убивших его конвоиров. Об этом уже говорилось на XXII съезде, но там не было сказано, что охранник приехал в Ленинград из Москвы вместе с Запорожцем, который был рекомендован Сталиным Кирову как начальник Ленинградского НКВД. Когда Киров на это не согласился, Запорожец все-таки был назначен первым замом к Медведю. Когда после убийства составлялся список привлекаемых к ответственности за халатность работников НКВД, то в первом варианте Запорожца не было, его включили только после того, как это заметил Ворошилов. Всем работникам НКВД дали по три года. Медведь работал на Колыме начальником управления. А в 1937 году все они были расстреляны, кроме Фомина. После принятия закона от 1 декабря, в течение одного месяца прошел ряд процессов над неожиданно возникшими «террористами» в Ленинграде, Москве, Киеве, Минске, — было расстреляно 119 человек.

Вернемся в Верхотурье.

В колонии была самодеятельность. Все в обязательном порядке должны были участвовать в каком-нибудь кружке. Сначала я пошел в кружок баянистов, но, с трудом разучив несколько произведений, перешел в драмкружок, где готовилась к постановке пьеса «Пионерская застава». Я знал, что спектакль будут играть для вольных за зоной. Выход за зону для меня был мечтой — я решил бежать.

В мае 1939 года участники самодеятельности отправились давать концерт за зону, в местный детдом. В пьесе я играл полковника, командира заставы. Начальство колонии несколько дней не давало согласия на мой выход за зону. Но в пьесе роль полковника разучивал только я, поэтому Людмила Сергеевна и Маруся, вольная девушка, наша пионервожатая, настаивали на том, чтобы меня выпустили. Начальство, наконец, согласилось, но потребовало письменного поручительства от Людмилы Сергеевны и Маруси. С Марусей у меня были дружеские отношения. Когда мы вышли за зону, Маруся сказала: «Я, конечно, понимаю, что ты можешь что-нибудь натворить. Делай, что хочешь, я тебя люблю и не раскаюсь в том, что поручилась за тебя».

После первого акта, в перерыве, когда все поднялись на второй этаж, я выпрыгнул из окна гримерной на первом этаже и во весь дух помчался к речке. На берегу я увидел лодку, сел в нее и переправился на другой берег. По рассказам Маруси я знал, что на том берегу находится заброшенная ветряная мельница. Мне пришлось продираться через кустарники часа три. Наконец, я выбрался на большую поляну. Вот и мельница.

Убежал я в одной гимнастерке, всю ночь дрожал от холода,

не заснул ни на минуту. Начало светать, я думал, ждать ли мне Марусю (я успел предупредить Мишку Медведя, что буду ждать ее на мельнице) или идти дальше, но я не знал окрестности, зато точно знал, что вокруг находится много лагерей. Так что я мог попасть из одного лагеря в другой. Я стал думать, в какой стороне находится железная дорога. Пока я размышлял, наступило утро. Вдруг из рощицы показалась Маруся. Я побежал ей навстречу и накинулся на нее с расспросами. Она с грустью рассказала, что как только выяснилось, что я сбежал, всех участников самодеятельности погнали в колонию, и вся охрана брошена в погоню. Разъяренный Карташов созвонился с начальником Управления Севураллага, которое находилось в Верхотурье. Лагерные охранники тоже отправились на поиски. Маруся принесла мне теплую одежду, еду, объяснила, как пробираться к Ирбитскому тракту, где можно сесть на попутный грузовик и доехать до Ирбитской железной дороги. Заходить в селения она мне не рекомендовала, потому что в районах, где были лагеря, население охотно выдавало беглецов, получая за это вознаграждение. Она сказала, что меня ищут в районе железной дороги. Мы поцеловались и расстались.

Шел я лесом, было очень сыро, спасло меня то, что на ногах были хорошие вольные сапоги. Почти не останавливаясь, шел я часов восемь. Ноги изнывали от усталости. Только один раз мне пришлось обогнуть по лесу какой-то поселок. Тракта все не было и не было. Напившись болотной водички и немного отдохнув, я двинулся дальше. К вечеру я вышел на какую-то просеку, по которой шла дорога. Как я потом выяснил, это и был Ирбитский тракт. Движения по тракту не было. Дорога была плохая. Через некоторое время я услышал шум мотора: сзади меня догоняла машина. Я сразу же вошел в лес; голосовать[30] я боялся, зная нравы местных жителей. Проехал грузовик, и опять все стихло. Я уже начал проклинать мою судьбу, видя безвыходность моего положения: вторые сутки без сна, очень устал, а до Ирбита километров двести. Пройдя еще часок, я увидел впереди слегка мерцающие огни поселка, а в стороне несколько стогов сена. Я обрадовался, подошел к одному из стогов, разворошил его сбоку, забрался туда и прикрылся сеном. Уснул я как мертвый.

Когда я проснулся, уже был день — солнце ярко светило. Я выполз из стога и начал отряхиваться. Повернулся в сторону дороги и увидел трех мужчин, подходивших ко мне. У одного из них на поводке собака. Собака задыхалась, натягивала ошейник, рвалась ко мне, но собаковод ее не спустил. (Впоследствии мне приходилось слышать, как во время преследования беглецов спускали собак, и они терзали свою добычу). Я узнал старшего

воспитателя своей колонии — Дмитрия Ивановича. Собаковод остановился, двое подошли. Один из лагерной охраны хотел меня ударить, но Дмитрий Иванович не разрешил. «Всякие сволочи бегают, — бормотал лагерный охранник, — а ты за ними денно и нощно по болотам шныряй. Был бы наш, живым бы не привели». Дмитрий Иванович сказал: «Ну и далеко же ты ушел. Пошли».

В трех километрах от этого места нас ждала грузовая машина. Меня посадили в кузов, мы стали кого-то ждать. Лагерный конвоир три раза выстрелил в воздух. Часа через полтора к машине возвратились еще две группы из погони, тоже с собаками. Все уселись в грузовик, собак держали при себе, и машина затарахтела. Уже смеркалось, когда мы подъехали к колонии.

На крыльце стояли Карташов и Людмила Сергеевна. Когда я подошел, он меня грубо спросил:

— Ну, что? Хочешь распрощаться с жизнью? Слышишь, что творится в зоне? (в зоне слышался гул голосов, у вахты собралась огромная толпа ребят, ожидая моего прихода). Ты понимаешь, что из-за твоего побега колония в соревновании с первого места скатилась на 29-ое? (Побег считался самым крупным «нарушением».) Если тебя сейчас впустить в зону, ребята растерзают тебя. Ну, так что? Пойдешь?

Я, не думая, согласился. Вошел в зону. Около вахты стояло человек двести, в центре крутился староста нашего корпуса — Червонец. Толпа негодовала. Раздались возгласы: «Сука! Падло!» Но с места никто не двинулся. Ко мне подошел Мишка Медведь. У всех на глазах достал из рукава и передал мне большой нож, сделанный из напильника, и остался стоять рядом со мной. Я, обращаясь к Червонцу, спокойным голосом сказал:

— Я ничего общего с вами, ворами или активистами, не имею. Если вы хотите меня бить за то, что вы попали на какое-то 29-ое место, то бейте до смерти. Если жив останусь, тебя, Червонец, зарежу.

Он что-то пробормотал в ответ.

Бауман и Ухов стояли в стороне и тоже что-то придерживали в рукавах. Оглядываясь, я заметил, что сзади моих ребят стояли еще человек двадцать огольцов. Как потом я узнал, они прибыли за день до моего побега из московской детской тюрьмы — Даниловки. Их наши активисты не успели еще обработать. И видно было, что если сейчас что-то начнется, то они выступят на моей стороне.

Понимали это и «активисты». Толпа еще немного поскверновословила и стала расходиться.

Карташов наблюдал, стоя у вахты. Когда уже все разошлись,

он приказал мне войти в вахтенное помещение.

— Сейчас тебя отведут в изолятор, а завтра поговорим, — произнес он угрожающим тоном.

Изолятор находился в двух километрах от зоны. Меня сопровождали охранники. Изолятор был пуст. Я остался один. На следующий день меня вызвали. В дежурной комнате меня встретили Карташов и неизвестный человек в штатском. Карташов задавал вопросы, а неизвестный записывал.

— Зачем ты это сделал?

— Затем, что я сижу ни за что. Дети за родителей не отвечают, сам я преступлений не совершал, а потому хочу на волю.

— Ты же мог написать жалобу, если считаешь, что ты неправильно осужден. А то у тебя уже второй побег — мы же тебя можем судить.

— А по 82-ой статье всего три года сроку и принцип сложения не применяется, а при поглощении у меня больше трех лет осталось.

— Все равно, даже если тебя осудят по 82-ой статье, находиться ты будешь в режимных колониях и ты загнешься[31], пока выйдешь.

— А вы знаете, как говорится в этой песне, сочиненной еще на Соловках: «Эх, чем мучиться три года, лучше раз один рискнуть. Или смерть или свобода, что-нибудь одно из двух».

Карташов грустно посмотрел на меня и сказал:

— Ну, как знаешь… И чем тебе у нас не жилось?

После этого вдруг начал задавать вопросы штатский:

— Куда вы бежали? И с кем имеете связь на воле?

— Я не знал, куда я бежал. Я бежал из тюрьмы, а на воле у меня ни с кем связи нет. Все родственники мои сидят, я даже не знаю, где они. Один старый дедушка посылает посылки из Одессы.

— Вы отправляли отсюда нелегально письма?

— Ради бога, не начинайте вести расследование, как в 37-ом году. Может быть, вы меня спросите, не связан ли я с японской разведкой?

Штатский рассердился, меня отвели обратно в камеру, где я находился четверо суток.

Охрана изолятора была относительно вежливой, кормили хорошо.

Делать в изоляторе было нечего. Я много думал о себе, о своих побегах. Так проходили дни. На третий день неожиданно в камеру вошла Маруся. Я очень обрадовался. Мы поболтали, потом попрощались.

Другая встреча в изоляторе была с Людмилой Сергеевной. Она рассказала, что Карташов обо всем сообщил в Свердловск и в Москву и получил разрешение отправить меня в лагерь, где содержат беглецов, совершивших несколько побегов. Я расспрашивал о ее жизни, она охотно рассказывала. Расстались мы друзьями.

На пятый день послышалось какое-то копошение у двери, и в камеру вошел Миша Медведь. Он сказал, что его вызвали с работы и препроводили сюда. Перед этим он ходил на склад и в мое общежитие, и все его и мои вещи на телеге были доставлены сюда же. Подтверждалось сказанное Людмилой Сергеевной: значит, нас действительно куда-то отправят. Миша рассказывал о настроении в зоне. Огольцы, прибывшие из Москвы, задавали тон, укоряя активистов, что те работают на оперов[32], что такие фраера[33], как я, устраивают побеги, а они, в ком когда-то текла жульническая кровь, даже участвуют в разоблачениях, помогая начальству; что Володя Бауман и Коля Ухов оставлены в колонии, и теперь они совсем одни.

На следующий день утром пришли конвоиры из нашей колонии. Нас вызвали, мы вышли на улицу. Конвоиры погрузили все наши вещи на подводу и повели нас на вокзал. На вокзале начальник конвоя купил билеты. Подошел поезд, опять без нашей помощи были занесены вещи. Нас ввели в вагон. Для нас и конвоя было выделено отдельное купе в общем вагоне. Мы устроились, поезд тронулся.

Пассажиры не без удивления заглядывали в наше купе: два пацана в сопровождении конвоя. Вокруг, как обычно в вагоне, люди доставали свертки, кто-то уже принялся за еду. Нам тоже очень захотелось есть. Мы обратились к начальнику конвоя. Он сказал, что ехать всего два с половиной часа, но что если у нас есть деньги, то на станции можно что-нибудь купить. Деньги у нас были — мы получили все, что у нас было на счету. После следующей станции на нашем столике в купе появилась еда — хлеб, масло, колбаса и даже водка. Мы вместе с конвоирами принялись за еду, быстро охмелели и завалились спать. Конвоиры разговаривали с пассажирами. Как мне показалось, не успел я и прилечь, как нас уже разбудили — мы приехали. Вышли. На здании вокзала надпись: станция Исс.

До места назначения пришлось добираться километров семь; вещи наши несли конвоиры. Наконец, мы увидели четырехэтажное здание тюрьмы, прилегающую к ней огромную зону, приблизительно, километра два с одной стороны, очень высокий, метров десять, забор, перед забором двенадцатиметровая запретная зона, вспаханная и прибранная

граблями. По верху забора — колючая проволока на специальных кронштейнах, направленная в обе стороны. В середине забора — ворота, маленькая вахта. Это была Нижне-Туринская колония строжайшего режима, а рядом с ней находился Нижне-Туринский изолятор.

НИЖНЯЯ ТУРА

Начальник конвоя зашел на вахту, а мы сели около нее на вещах. Приблизительно через час он возвратился с двумя мужчинами в форме. Один из них был дежурный по колонии, другой — высокого роста с интеллигентным лицом — начальник колонии по фамилии Отто. Начальник сказал нам с Мишей: «Все вещи сдать на склад. Если вас будут обижать, обратитесь через надзирателя ко мне». «Хорошо, гражданин начальник», — ответили мы. И, уже решив уходить, он лично мне задал вопрос: «Отца-то своего помнишь?» — «Помню очень хорошо».

После этого дежурный проверил у нас установочные данные по формуляру (лагерному паспорту с 20 пунктами). Потом мы взяли свои манатки и вошли в зону. Прямо перед нами стоял громадный барак — это была столовая. Налево, в углу, отгороженном высоким забором с проволокой, карцер; направо, тоже отгороженный, большой барак — БУР[34]. Сразу за БУР'ом был склад, куда мы по описи сдали свои вещи. После этого нас повели в баню. Мы вошли в раздевалку, повесили вещи на кольца для прожарки и приготовились идти мыться. Банщик открыл двери в баню и стал выгонять моющихся: «Довольно, хватит, размылись», — кричал он. В ответ на это раздался многоголосый женский визг. Я с любопытством заглянул туда и увидел громадное количество голых женщин. Банщик их прогнал одеваться, мы с Мишей вошли в баню. Баня была громадная, около сотни кранов, хорошая парилка. Мы начали мыться, залезли в парилку. Через некоторое время нас нашел банщик и выпроводил одеваться. Банщик позвонил дежурному, а затем отвел нас в столовую.

Мы поели и пошли в барак. Барак делился на три секции: две располагались друг против друга в торцах барака, третий вход был посередине, на нем было написано наверху «7/2», то есть седьмой барак, вторая секция. Мы вошли и увидели сплошные одноэтажные нары по стенам, на нарах располагались ребята приблизительно нашего возраста; появление дежурного никак не отозвалось на их времяпрепровождении. Дежурный громко крикнул: «Золото!» Откуда-то из-за угла выскочил парень постарше нас, в кальсонах, в хромовых сапогах, в косоворотке и жилетке. «Чего, гражданин начальник?» — «Вот к вам привел двух новеньких из Верхотурья. Смотри, не обижайте их». Золотой махнул головой в ответ, и дежурный вышел. Сразу же вокруг нас сгрудились все обитатели секции. Среди них оказались ребята из Верхотурья, прибывшие незадолго до нас. Один из них — Лешка-

цыган — пожал нам руку и, обращаясь к Золотому, сказал: «Вот это как раз те, о которых я тебе рассказывал». Золотой дружелюбно обратился к нам, указывая на место рядом с собой на нарах. Мы расположились. От нас не отходили, пришлось рассказать о Верхотурье, о моем побеге. Во время рассказа о верхотурском активе многие проявляли негодование, заявляя, что все равно они когда — нибудь перережут всех этих сук.

Во время нашего рассказа вошел в барак очень хорошо одетый человек лет 35 и, подойдя к Золотому, сказал: «Ну, что вы здесь баланду травите? Может побалуемся?» Золотой быстренько достал из-под подушки колоду самодельных карт, уселся по-турецки, положил перед собой маленькую подушечку и игривым тоном заявил: «Ну, что ж, садись, Колдун. Сейчас я тебя уколдую».

Колдун, элегантно поддернув брючки, сбросив ботинки, таким же образом уселся перед Золотым: «Целиком — чистые на чистые» («целиком» — это игра в стос; «чистые на чистые» — деньги на деньги). Игра началась, все наблюдали за игрой. Через полтора часа Колдун проиграл Золотому рублей 50 денег, затем предложил свой пиджак. «Шмотки[35] носи сам», — ответил Золотой. Колдун поднялся и, уходя, бросил: «Ничего, голенький еще будешь бегать. Я тебя обдеру вплоть до голубей» (до белья). — «Воруй, пока трамваи ходят», — ответил Золотой (это на блатном жаргоне значит «иди-иди»).

Передав выигранные деньги Цыгану, Золотой сказал: «Ну, иди, милый, может быть, чего-нибудь сообразишь». Цыган тут же куда-то исчез, через час он притащил десять пузырьков тройного одеколона. Потирая руки, Золотой предложил нам принять участие в трапезе. Появились колбаса, сало, коврижка. Мы выпили. Я впервые пил одеколон, смешанный с водой. Он имел бледно-молочный цвет. И была такая отрыжка — будто тебя освежают в парикмахерской.

От стакана одеколона закружилась голова. В это время в барак вошел коренастый пацан с гитарой. Золотой позвал его, назвав Заикой Шуйским, предложил стаканчик одеколона. Тот выпил, закусил и запел песню, которую я до этого не слышал. В этой песне речь шла об игре в стос. Под звуки этой песни я уснул и проснулся, когда разбудили на поверку. Поверка в Нижней Туре делалась так, как впоследствии в спецлагерях после 1948 года, то есть выстроившихся зэков сначала пересчитывали гуртом, а потом вызывали по карточкам. После поверки, отказавшись от чаепития, мы с Мишкой улеглись и опять захрапели.

В Нижне-Туринской колонии было 12 больших бараков по три секции в каждом, в средней секции, как у нас,

помещалось 50 человек, а в боковых по 100. Всего в зоне находилось около 3000 человек. Было два женских барака. Кроме того, была рабочая зона, в то время не отгороженная от жилой. В рабочей зоне было два производства: ДОК (деревообрабатывающий комбинат), со всеми процессами работ, вырабатывавший клепку, тарную дощечку и большие доски, строганные с четырех сторон, и фабрика, изготовлявшая кровати для армии и лагерей. На фабрике имелись кузница, сборочный цех, ремонтно-механический цех. Никакой работы за зоной не было. Работали те, кто хотел. Остальные, к числу которых принадлежал и я, не ходили на работу, как говорили, «по разутости и раздетости». Дело в том, что мы отказывались получать казенное обмундирование, которое имелось на складе, а свои брюки прятали, ходили в нижнем белье. Начальство нас не заставляло носить казенное обмундирование и ходить на работу. Все дело было в том, что в Нижней Туре содержались, в основном, рецидивисты — люди, имеющие больше трех судимостей или же судимость за побег.

Были, правда, люди, которые сидели с 1918–1919 годов по политическим статьям. Один из них — бывший министр финансов Колчака, которому всегда продлевали срок не более, чем на 5 лет, но не выпускали его. Работал он дневальным в сапожной мастерской. Он был человеком необщительным, со странностями. Например, он получал обед в котелке, приносил его к себе (он жил отдельно), надевал фартук, брал полотенце через руку, разливал еду в тарелки, важно, с поклоном ставил это на стол, затем снимал полотенце с руки, снимал фартук и садился за стол. Пообедав, опять преображался в лакея и убирал со стола… Жулики думали, что раз он был министром финансов, то у него должно быть скоплено много денег, и в его отсутствие прошмонали всю его комнату, но ничего не нашли.

Находился здесь Сергей Степанченко, кажется, бывший губернатор города Пскова, воевавший в войсках Юденича. Бежал несколько раз из плена, потом был арестован за участие в антоновском восстании в 1921 году. Получил срок пять лет и попал в один из первых лагерей СССР — Красную Вишеру, недалеко от Соликамска. (Сейчас это называется Норыплаг, где отбывает срок Анатолий Марченко[36].) Бежал оттуда, поймали, отправили на Соловки, где царствовал знаменитый палач Соловков по фамилии Курилко. Степанченко рассказывал, что когда приходил этап, Курилко сам делал поверку прибывшим. Всех выстраивали в один ряд, и он громким голосом кричал: «Воры, шаг вперед! Проститутки, два шага вперед! Спекулянты — три, попы — четыре! Контрики — пять! Кто второй раз приехал на

Соловки — шаг в сторону!» Последних помещал в нормальные условия, а всех остальных заставлял работать по 18 часов в сутки на холоде, с плохим питанием. Многие не выдерживали и умирали…

Имели место убийства и издевательства со стороны охраны. Об этом сложили песню:

О, Москва, Москва, Москва, Москва,
Сколько ты нам горя принесла:
Все судимости открыла,
Соловками наградила,
Ах, зачем нас мама родила!

Там вдали стоит Секир-гора,
Где зарыты многие тела,
Ветер буйный там гуляет,
Мама родная не знает,
Где сынок, зарытый навсегда.

А всему свидетель — темный лес.
Сколько там творилося чудес!
На пеньки нас становили,
Раздевали и лупили,
А начальник говорил: «Подлец!»

Но Степанченко выжил — он был крепкий, сильный, мужественный человек. С Соловков в начале 30-х годов он попал в Горшорлаг в районе Кемерово, там строился тракт. Он рассказал, что там еще действовал закон «перековки», то есть людей вроде бы перевоспитывали. Шутники из управления лагеря, например, во время проливного дождя выгоняли зэков на работу, заставляя их нести лозунги: «На трассе дождя нет!» Степанченко бежал и оттуда. Его опять поймали: был объявлен всесоюзный розыск. Пробыв несколько лет в тюрьме, Степанченко попал в Нижнюю Туру. Здесь он тоже пробовал бежать, смастерил себе на заводе складную железную лесенку и, бросив ее на забор, ринулся по ней, но был ранен в ногу и упал на запретку[37]. После этого год просидел в одиночке политизолятора.

Один этаж политизолятора был отведен для зэков, нарушивших режим колонии. Попасть сюда было самым строгим наказанием.

Как и везде, в Нижней Туре существовал карцер, куда сажали на срок от 30 суток до 45; БУР, где держали по три месяца; а затем уже корпус, то есть политизолятор. Зэков наказывали за

оскорбление начальства, за игру в карты, за убийства, телесные повреждения, за сожительство. За производственные провинности в карцер не сажали. Когда я познакомился со Степанченко, он уже оправился от одиночки и, шевеля своими усами, опять рассуждал о побеге. «Пока жив, — говорил он, — буду бежать».

В Нижней Туре находилось около тысячи «честных» жуликов. Это было большое количество даже для лагеря. Весь лагерь играл в карты. Сохранились все жульнические законы, которые к этому времени начали извращаться в других лагерях. Словом, жулики жили здесь так, как они хотели.

Кроме жулья, в Нижней Туре была довольно большая прослойка физически ненормальных и психически больных людей. Так, было, например, человек десять гермафродитов. Один из них ходил в мужском одеянии и назывался Марьей Ивановной, другой — в женском одеянии, и звали его дядя Катя. Жизнь этих людей была несчастлива: их не принимали ни мужчины, ни женщины, и между собой они тоже не были дружны.

Было в Нижней Туре около 50 цыган и цыганок — вечные воры и мошенники. Но так как там и без них было много настоящих жуликов, то они считались жульем второй категории, и им приходилось обманывать друг друга. Остальной контингент был представлен беглецами и лагерными убийцами, многие из которых сидели по первому разу.

За все время пришел только один этап. В начале 1938 года из Москвы пришло человек двести мужчин и женщин по 58-ой статье. Непонятно, почему их пригнали сюда. Это были простые люди, невинно осужденные. Среди них была очень красивая девятнадцатилетняя девушка — полячка Ванда Бенах. Получила она десять лет только за то, что ее родственники жили в Польше. Я подружился с ней. Ванда работала на ДОК'е чернорабочей. Вольный начальник работ Дугин долго преследовал ее. Она не отвечала на его ухаживания и обещания, что он поможет ей хорошо жить в лагере. Дугин начал ей мстить: жестоко закрывал ей рабочие наряды, и Ванда в зоне получала меньше паек. Она с этим смирилась. Но Дугин не остановился — перевел ее в ассенизаторскую бригаду. Как-то я сказал ей: «Да плюнь ты на все, а то заморит». Она промолчала.

За игру в карты я попал в карцер, где просидел 30 суток — 300 грамм хлеба, один раз в три дня — баланда. Через 30 суток, пошатываясь от истощения, я появился у себя в бараке. Меня сразу же накормили. Потом сообщили, что несколько раз заходила московская вороваечка Лялька-балерина. Я попросил Мишу сходить в женский барак и узнать, что ей нужно. Вернувшись, Миша сказал, что я нужен Ванде. Я пошел к

женскому бараку. Навстречу вышла Ванда, которая попросила меня ночью прийти к ней. Она решила уступить Дугину, но не хотела отдаваться ему девственницей. Я ей сказал, что только сегодня вышел из карцера и очень поддошел[38], но она ничего не хотела слушать. В ее сознании прочно укрепилась мысль, что лагерный начальник не должен быть ее первым мужчиной. Ванда мне очень нравилась, но такая прозаичность очень меня смутила. Все-таки после отбоя я пошел к ней.

На следующий день я опять попал в карцер. В лагере карцер называется «изо», «шизо», «трюм», «кандей». Приблизительно суток через пять, ночью, дверь карцера отворилась, меня разбудил дежурный надзиратель и передал мне большую сумку. В ней было две буханки хлеба, табак, около килограмма сахара. Я понял, что Ванда выполнила свое решение, но поставила условием, чтобы Дугин помог мне.

Жулики в карцере переходили все границы: отнимали пайки у мужиков и фраеров, издевались над ними — пусть подохнут все, кроме них. Как-то в карцер посадили фраера, который что-то украл на кухне. Жулики начали его расспрашивать, кем он был на воле. Выяснилось, что милиционером. Восторгам не было предела: «Живой милиционер в камере!» Его заставили ходить на четвереньках и бормотать: «Шла коза дорогою, нашла козла безногого»; потом он должен был несколько раз произнести: «Забодаю», и в это время его били сапогом по голове и отвечали: «Не боюсь».

Хочется мне также рассказать о том, как я задрал (обыграл) Нижнюю Туру. Хотя я и был фраеренком, то есть не пользовался правами жульнического мира, но, поскольку я был в компании с Золотым и Цыганом, пользовался уважением у лагерных жуликов. Малолеткам выдавали по килограмму сахара в месяц. Это расценивалось на картёжном рынке в один рубль. Как-то, еще до выдачи сахара, к нам в барак забежал взрослый вор Вася-зверь и предложил мне игру на сахар. Взрослые получали сахара в три раза меньше. (Сам же он ставил на игру деньги.) Карта сразу же пошла, я выиграл у него 25 рублей денег, хороший костюм, сапоги, пуховую подушку, а также белье. Белье я ему оставил и направился, было, уже в каптерку за получением сахара, но тут в барак заскочил какой-то жулик, который был в компании со Зверем, и игра возобновилась. Почти трое суток подряд без сна я продолжал играть со вновь появляющимися клиентами. В моем распоряжении была уже огромная сумма денег, я с первой же карты ставил такую ставку, которой можно было обыграть любого соперника. За процессом игры наблюдало громадное число болельщиков[39]. В конце концов нижнетуринские жулики

проиграли мне все, что у них было. У меня собралось более 16 тысяч рублей, около ста костюмов, столько же сапог, подушек и куча разных мелочей. Все было свалено в углу, и на груде этого шмотья разлеглись Золотой, Цыган, Мишка Медведь, то есть наша маленькая коммуна. Около двух недель мы транжирили деньги. Каждый день приходили партнеры по игре и приносили добытые ими деньги или вещи, которые тут же перекочевывали к нам.

Но пришел и мой черед. Не помню, кто предложил мне играть, но помню, что было поставлено на игру темное шелковое кашне, оцененное в три рубля. И вот этим кашне, как говорится, меня и «удавили» — обыграли до ниточки. Ну, как выиграно было, так и проиграно.

Расскажу теперь о третьей моей попытке бежать. Мы решили рыть подкоп из нашего барака. В компании было шесть человек, но знали об этом все. Около 20 дней мы рыли свою нору, вытаскивая землю и распределяя ее под полом. В один из дней, когда наша «дыра» приблизительно прошла уже под запретной зоной, я, Миша Медведь и Лешка-цыган находились под полом и рыли. Было около 12 часов дня. В это время по всей колонии внезапно объявили генеральную проверку, на которой должны были присутствовать все заключенные (работающие и неработающие). Всех выстраивали, пересчитывали, вызывали по картотеке. Нас на поверке не оказалось, и кто-то из нашего барака стукнул, где мы и чем занимаемся. Не дожидаясь окончания поверки, надзиратели прибежали в наш барак и стали ломать пол. Мы, конечно, услышали, но не вышли из-под пола, а расползлись в разные стороны под бараком и лежали, затаив дыхание. Вдруг прямо надо мной взломали половицу. Я нарочно не открывал глаза, меня вытащили, били ногами, но я никак не реагировал на это. Тогда они решили, что я в обмороке, и поднесли вату с нашатырем. Тут я чихнул, открыл глаза и вынужден был давать объяснения: «Да, этот подкоп рыли мы. Я и другие сидим ни за что и, пока в силах, будем стараться бежать».

Объяснение это удовлетворило присутствовавшего при этом начальника колонии Отто. Меня отправили в карцер. Через некоторое время я услышал, что в карцер привели не только Мишу и Цыгана, но и Золотого, а с ним еще других ребят. В карцере было всего восемь камер, и тех, кто сидел там раньше, амнистировали. В этот день нам далее не объяснили, сколько суток мы должны находиться в карцере, и мы решили, что стали уже подследственными. Но на следующий день нам принесли пайку: триста грамм хлеба и, к нашему удивлению, по большому куску горбуши[40] сухого засола. Мы все это съели залпом, и тут

поняли разгадку: горбуша была очень соленая, а воды на протяжении последующих двух суток нам не давали. Во рту все пересохло, язык опух, общее состояние было плохим. Вышли мы из карцера через 45 суток.

Я пошел работать учеником токаря в ремонтно-механический цех. В каптерке этого цеха хранились продукты, в основном, сладости и курево. Мы решили почистить каптерку, подобрали ключи и ночью вынесли мешок пряников, двести пачек папирос «Звездочка», около ста пачек махорки, немного сахара и две трехлитровые банки сгущенки[41]. Участвовали в грабеже я, Мишка и воришка по кличке Горбун. Принесли все это в барак и пировали до утра. Табачные изделия, конечно, припрятали.

Наутро началось расследование. Горбун показал на нас с Мишкой. Всех троих посадили в изолятор, в следственную камеру. Вызывали на допрос к оперуполномоченному Петрову. Он сказал мне при очередном допросе: «Я служил у твоего отца, прекрасный был человек, а ты себе таких товарищей нашел. Они же тебя и продали». После этого допроса я просидел еще 20 дней в изоляторе, потом меня и Мишу взяли на этап. Впоследствии я узнал, что по делу об ограблении каптерки Горбун получил пять лет. За его предательство оперуполномоченный пустил по делу его одного, а нас отправили.

Опять столыпинский вагон, подростки и жулики из Нижней Туры — человек 80. Кто-то пререкался с конвоем, требуя воды. Пришел начальник конвоя и сказал: «Сейчас мы тебя напоим». Вытащили пререкавшегося и увели по направлению к туалету. Мы слышали крик, а минут через 20 его возвратили в купе. С великим удовольствием он нам показывал руки, на запястьях которых были видны следы острых зубцов; в некоторых местах сочилась кровь. «Новенькие американские наручники, никелированные, — захлебывался он, — чуть-чуть шевельнешься, и они впиваются все глубже и глубже». Нам, конечно, стало завидно, что мы не испытали этого. По очереди мы подзывали к своему купе конвоира, оскорбляли его; нас выволакивали, держали в наручниках и приводили обратно в купе. Так в течение ночи все обитатели купе прошли эту добровольную экзекуцию. Действительно, наручники были никелированные, с острыми зубцами, которые при малейшем движении впивались в тело.

На следующий день мы прибыли в зону, где не было ни одного барака, кроме карцера, и стояло около двухсот армейских палаток. Наступила осень, было холодно. Как всегда, нас проверили по формулярам и запустили в зону, отведя нам две палатки. Мы прибыли в 14-ое отделение Севураллага, на станцию Богословск.

СЕВУРАЛЛАГ

Первые 14 дней был карантин. Нас не выводили на работу, и от нечего делать мы шатались по зоне. За это время пришло несколько этапов из Москвы, Ленинграда, Ростова. Преобладали жулики. Они, как и везде в лагерях, чувствовали себя хозяевами. На этот раз не обошли и меня. Прибывший с нами из Нижней Туры московский жулик Васек потребовал, чтобы я отдал ему все свои шмотки. Я знал, что сопротивляться бесполезно и небезопасно, и отдал ему все свои вещи. Через некоторое время один из пожилых воров, Саша-жид, выиграл у Васька все мои вещи и при нем же вернул их мне, важно заявив: «На, поноси!» Это означало, что вещи его собственность и он дает их мне только поносить, поэтому отобрать их никто не мог.

Выпал первый снег, карантин кончился. Нас стали выгонять на работу. Большинство не хотело выходить за зону. Сбившись около вахты, мы пытались не выйти из зоны. Через некоторое время через открытые ворота зашли конвоиры, человек 40, без оружия. Они валили нас на землю по одному, хватали за ноги и по снегу волокли за зону. А там стояли конвоиры с винтовками, собачники с собаками, и тут уж, волей-неволей, должен был вставать и идти на работу. Привели нас на угольный разрез: уголь добывался экскаваторами с поверхности земли — открытым способом. Мы и там ничего не делали; единственной заботой было развести костер. Начальству удалось вывести нас на работу, но заставить нас работать они не смогли.

Увидев слабость конвоя, мы на следующий день добровольно вышли на работу, задумав при первой же возможности бежать. В течение первых пяти дней мы выбирали удобный случай. И как-то в конце рабочего дня, когда уже стемнело, убежали впятером. Всю ночь проблуждали в реденьких лесах, недалеко от поселка, утром по солнцу вышли на юг. Слышны были выстрелы, лай собак и приближение погони. Мы решили разбрестись по лесу. Я оказался вместе с одним чеченцем, Вахой Чадаевым.

Совершенно изможденные, нигде не останавливаясь, мы прибрели в какое-то таежное поселение, состоящее, может быть, изб из двадцати. В первой же избе нас приняла пожилая женщина. Мы ей все рассказали, она накормила нас и уложила спать. Утром она предупредила, чтобы мы не показывались в поселке, пока не решим, куда идти дальше. Сама хозяйка ушла на работу, ее дочь тоже работала; был у нее сын лет одиннадцати. Ее муж был в 1937 году арестован и погиб в лагере. Это была одна из многих семей, которые были высланы в 1930 году из Северного

Казахстана, как кулаки. Здесь, в этом таежном поселке, у них было свое хозяйство: куры, свиньи, коровы, огород. Прожили мы в этой семье дней 20 и, несмотря на запрет хозяйки, решили однажды устроить сюрприз — распилить в ее отсутствие все дрова, находящиеся около дома. Вечером, когда вся семья была в сборе, мать и дочь отругали нас, сказав, что нас обязательно должны были видеть соседи. Хотя в каждой семье были арестованные, население очень охотно докладывало о беглецах, получая за это вознаграждение.

После этого решили на рассвете идти дальше. Хозяйка объяснила нам, где находится железная дорога. Их оказалось две: одна шла к Свердловску, и до нее было километров сто; другая — Транссибирская, до которой было километров триста. По направлению к последней мы и решили продвигаться. Снабдив нас сухарями, солью, самодельным маслом, хозяйка в четыре часа проводила нас из дому.

Снегу было еще немного, мы шли по проселочным дорогам не торопясь. Но как только рассвело, прямо навстречу нам вышли из лесу охранники в военном. Документов, естественно, у нас не оказалось. Тогда они связали нам руки и повели. Шли мы долго. Наконец, добрались до какого-то поселка. Оттуда, посадив в сани, нас доставили в Богословск. Непонятно почему, но нас не били и сразу же посадили в карцер. Карцер был полон ребятами из Нижней Туры — за отказ от работы. Отсидев несколько суток в карцере, я и другие попали на этап.

Прибыли мы на станцию Карелино. Нас приняли в зону, отвели отдельный барак, разделенный на две секции. Барак находился недалеко от карцера.

В первый же день к нам в барак пришел начальник комендантского лагпункта седьмого лаготделения Севураллага Бестужев (впоследствии мы называли его просто Махно). Он сказал, что работа здесь — только лесоповал, что мы будем находиться под усиленным конвоем, и чтобы мы забыли о побеге, «а не то я из вас сделаю керченскую сельдь — черную и без головы».

В лагере, кроме нашего этапа, находились исключительно заключенные по политическим статьям. Многие бригады, которые жили в отдельных бараках, были сформированы по национальному признаку. Так, были три корейских бригады (корейцы были арестованы еще на Дальнем Востоке, а позже их семьи были переселены в Среднюю Азию); немецкие бригады, состоявшие из немцев Поволжья и немцев, проживавших в кавказских колониях Люксембург и Елендорф; грузинские (бригадиром одной из них был сын А. Енукидзе — Петр), причем

мингрельцы были в отдельной бригаде; кубанские бригады — рослые казаки; кабардинские, казахские, чеченские бригады. Остальной контингент был разношерстный и работал в основном на подсобных работах. В лагере был небольшой барак для женщин (около 30 человек).

Спустя почти тридцать лет помню, какие работы были на лесоповале. Повал леса, выноска его к лежневой узкоколейке, вывозка леса на биржу. Биржа была у железной дороги и представляла собой рабочую зону оцепления в квадратный километр. На бирже складывался лес — долготье. Всю зиму по санно-лежневой дороге приходили комплекты — большие сани с лесом. Бревна были длиной 6 метров 57 сантиметров; их разделывали на коротье, швырок — 0,75 м.; на дрова — полтора метра; на рудничную стойку — от 1 метра 10 сантиметров до 3,5 метров. Осина шла на спички и на клепку; береза — на катушку, ствольную накладку и ружьевую болванку, а комлевой кряж: — на лыжную болванку. Пиловочник шел длиной 5,5–6,5 метра, шпальная болванка — 2,75 метра.

Наша бригада была практически без бригадира, потому что из нас никто не соглашался на эту должность — для жуликов это нарушение их закона, поставить же на должность бригадира человека из другой бригады было бесполезно и даже опасно: его могли убить, и Махно это прекрасно понимал.

Несколько дней мы ходили на биржу, но не работали, а сидели у костра. Решили нас отправить на лежневку в лес, километрах в пяти от биржи. Отвели нас туда под усиленным конвоем. Быть кострожогом для конвоя никто из нас не захотел, хотя кострожогов и освобождали от работы. Конвоиров это удивило. Мы, не спеша, носили бревна, грелись у своего костра. Часов в двенадцать дня, во время обеда конвоиров (нам обеда не полагалось), мы оказались безнадзорными. Подойдя к штабелю дров, я услышал, что наши ребята решили использовать этот случай для побега. Нас было десять человек. Посовещавшись, мы решили ввосьмером уйти.

Двое взяли бревна и пошли обратно, а мы разделились на две группы и веером побежали по лесу. Снег был неглубокий. Минут через тридцать мы услышали два выстрела подряд — условный знак для конвоя, сообщавший о побеге. Мы бежали вдвоем с одним воришкой по кличке Чертик. Часа через два мы вышли на опушку леса. Для того, чтобы достичь следующего лесного массива, нам нужно было преодолеть открытое пространство — поле трехкилометровой ширины. Когда мы уже прошли основную часть пути и нам оставалось метров триста до леса, вдали на поле показались всадники. Они нас догнали. Это были охранники

нашего лагеря во главе с начальником лагпункта Бестужевым. Сопротивляться было бесполезно, нас связали, били березовыми палками, плетьми, потом каждого привязали за руки веревками и поволокли по снегу за лошадьми. Иногда лошади переходили на рысь, а мы волочились за ними. «Путешествие» это было не из приятных: в любой момент можно было разбить голову о пень, но все обошлось. Нас приволокли к зоне, опять избили и отнесли в карцер (ходить мы были уже не в состоянии). В карцере я просидел месяц. Первые шесть дней не мог подняться даже на парашу, меня поднимали мои сокамерники… Тело очень болело, но, к счастью, костных переломов не было, а посему все зажило как на собаке[42]. Другие беглецы, так же, как и мы, были пойманы и находились в соседних камерах. Это был мой последний побег.

Через месяц я вышел из карцера. Нас гоняли на работу. Мы забирали с собой штрафной (мы по-прежнему не работали) трехсотграммовый паек, кильку, которую выдавали в неограниченном количестве; приходили на биржу, разжигали костер, садились, жарили хлеб и кильку на палочках. Когда к нам подходил вольный десятник, мы, улыбаясь, говорили, что не успели позавтракать. Таким образом проходил рабочий день. Иногда на лошади скакал к нам наш начальник Махно. Мы вскакивали, разбегались от костра по штабелям — туда на лошади не проедешь — и дразнили Бестужева: «Граф Бестужев! Махно! Мы тебя…» Периодически за все наши проделки мы попадали в карцер.

Уже в разгар зимы мы занялись разбоем. По бирже проходил тракт, и сани вольных с поклажей проезжали через нее — другой дороги не было. Мы ждали, когда какой-нибудь санный поезд — двое-трое саней — доедет до середины, выскакивали с топорами с двух сторон, забирали все, что нас интересовало, в основном еду, и отпускали путников с богом. Как-то, я помню, нам досталась туша мяса, которую мы потом жарили на костре. Были случаи, когда мы мешками тащили муку, горох, сахар и прятали все это в штабелях, заранее раскатанных для тайника. Найти награбленное было невозможно.

Когда мы очередной раз не захотели выходить на работу, нас насильно выгнали к вахте. Там всех ждал розовощекий Махно. За хвост он держал большую горбушу. Разгневанный нашим поведением, он размахнулся горбушей и сильно ударил ею одного из нашей бригады. Парень упал. Протестуя против произвола, мы все легли в снег. Надзиратели были вынуждены на руках относить нас в карцер. Очутившись в карцере, все мы (а нас было 12 человек в одной камере) вечером решили поджечь его. Карцер был деревянный. Отломали маленькую дощечку, из ваты,

вырванной из телогрейки, свили фитиль и древним способом, катая вату дощечкой, добыли огонь, а затем, отщипывая маленькие дощечки от досок, разожгли в углу костер. Сами легли на пол. Карцер начал гореть, мы задыхались от дыма. Прибежавшая обслуга стала тушить карцер, не выпуская нас из камер. Вода из брандспойта, потушив огонь, залила все камеры. После этого все были освобождены, кроме нашей камеры. Нас рассадили по трое в отдельные камеры, и мы окоченевали. Наша одежда была покрыта слоем льда (на улице стоял трескучий мороз). Чтобы нас выпустили из карцера и чтобы не замерзнуть, мы барабанили в двери. Но на это никто не обращал внимания. К ночи у одного из нас начался приступ язвы. Мы орали, требовали врача — у парня горлом шла кровь. Так мы простучали до утра.

После развода открылась дверь, и нам разрешили пойти к врачу. Мы взяли нашего приятеля под руки и пошли. Шли мы как деревянные куклы, ноги были совершенно окоченевшими. Так мы добрались до санчасти. Конвоир отвел нашего приятеля в комнату врача, а мы остались ждать в передней. Конвоир очень быстро вышел и сказал, что нашего приятеля положили в больницу, и чтобы мы возвращались в карцер. Мы заорали, что тоже нуждаемся в медицинской помощи. Конвоир ругался, требовал от нас повиновения. На крик вышел врач и, не обращая внимания на ругань конвоира, спросил:

— А что с вами?

— У нас ноги обморожены.

Он попросил нас войти в кабинет, раздеться. Сел за стол, записал наши фамилии. Когда я назвал свою, он как-то невольно вздрогнул и стал внимательно смотреть на меня. Я с трудом стягивал с одной ноги бахилу (лагерные ватные чулки). Когда я ее снял, то увидел совершенно посиневшую ногу. То же самое было и у моего приятеля. Врач написал какую-то бумажку и протянул ее конвоиру. Конвоир прочитал и сказал, что по распоряжению начальника лагпункта мы должны находиться в карцере. Врач подошел к телефону и позвонил:

— Гражданин начальник, у меня на приеме два заключенных с обморожением ног третьей степени. Их необходимо лечить, освободив из карцера. Я, как врач, отказываюсь выполнять свои обязанности, если мое требование не будет выполнено.

Не знаю, что ответил начальник, но врач передал трубку конвоиру, и мы услышали, как тот отвечает: «Слушаюсь». Обращаясь к врачу, он сказал: «Дайте нам справку, что они нуждаются в лечении». Врач написал такую справку и отдал ее конвоиру. Тот ушел. Мы остались наедине с врачом. Врач детально осмотрел наши ноги, позвал сестру. Она сделала нам

компресс. Мы ушли в барак, а утром нас положили в стационар.

В стационаре, после обхода врача, меня пригласили в комнату, где он жил. Он спросил меня:

— Вы сын Якира?

Я подтвердил.

— Я так и думал. У вас с ногами очень плохо, но я постараюсь сделать, что смогу. Пока я здесь, никогда не отказывайтесь от работы, лучше придите заранее в санчасть. И вообще, представьте себе, что вы находитесь в экспедиции по изучению человеческих нравов. Вникайте в поступки людей, наблюдайте, осмысливайте все.

Это стало моим жизненным кредо в лагере, а врач, Сергей Федорович Преображенский, стал моим духовным отцом…

По специальности Сергей Федорович был палеонтолог. Сын ректора духовной академии, он в девятнадцать лет, во время гражданской войны, пошел фельдшером в Красную армию. Его старший брат, Петр Федорович Преображенский, был виднейшим советским историком античности. В 1937 году трех братьев Преображенских и мужей двух сестер арестовали. Было одно общее дело — их объявили участниками «монархической организации». Получив по десять лет, они разъехались в разные лагеря. Когда жена Петра Федоровича приехала к нему на свидание в Онелаг, то он, прощаясь с ней, сказал: «Мы все погибнем в этой мясорубке. Останется жив один Сергей — он с детства умел к жизни подходить по-философски». Это пророчество сбылось.

Уже после освобождения Сергей Федорович работал в институте палеонтологии; несмотря на плохое здоровье, он в 60 лет ездил со студентами в экспедиции, был жизнерадостным, все его любили.

В 1957 году Сергей Федорович из Казани, где он был в свое время осужден вместе со своими родными, получил справку о реабилитации, в которой было сказано: «Сергей Федорович Преображенский реабилитирован посмертно». Это очень подействовало на него; парализованный, он прожил после этого не более двух лет.

Полтора месяца я пролежал в больнице, пальцы выздоровели, их не ампутировали, только на больших пальцах сошли ногти. Мы часто беседовали с Сергеем Федоровичем. Я слушал его с большим вниманием. Наши встречи не пропали даром — я начал заниматься самообразованием. Сергею Федоровичу присылали книги, я с жадностью их читал.

Подошла весна, я заболел воспалением легких. Когда я уже начал выздоравливать, меня вызвали на этап. Сергей Федорович

сказал, что он приложит все силы, чтобы меня не отправили. Он делал мне уколы, у меня поднялась температура. Лагерное начальство не решилось отправить меня на этап в таком состоянии. Миша Медведь уехал с этим этапом. Как потом я узнал, этап шел на Колыму. Судьба его неизвестна. Ходили слухи, что пароход, на котором перевозили зэков, затонул. Больше я никогда ничего не слышал о Мише Медведе.

Дни шли своим чередом. К нам пришел громадный этап: чеченцы, ингуши, тавлинцы. Этап был очень «богатым» — у прибывших были громадные запасы продуктов: сушеная баранина, сало, сушеные фрукты — и наши мальчики на протяжении двух недель потрошили мешки прибывших. Наш барак пировал.

Начиная с апреля месяца, после появившегося в газете опровержения ТАСС по поводу переброски войск СССР с востока на запад, в нашем лагере все время шли разговоры о надвигающейся войне. И после известного опровержения ТАСС от 14 июня, Готлиб Эдуардович Курц, немец учитель, работавший десятником, не имея никаких дополнительных сведений, сказал, что война начнется в течение недели.

22 июня никого не вывели на работу. К вечеру в лагерь начали просачиваться слухи, что началась война. 23 июня начали вызывать по баракам на этап. В основном вызывали 58-ую статью; тщательно обыскав, выгоняли за вахту, где стояло множество конвоиров, собаководов с собаками. Громадный этап построили в колонну по семь человек и, под лай собак, погнали по дороге по направлению в лес. Через километров восемь, в лесу, мы увидели зону — лесной лагпункт Малая Косалманка, пустовавший уже в течение года. Перед запуском в зону начальник произнес перед нами речь:

«В связи с тем, что на Советский Союз напали фашистские захватчики, объявляю вам новые правила режима: в зоне больше двоих не собираться, за нарушение — карцер; отказ от работы, равно и побег, будут квалифицироваться по ст. 58–14 (контрреволюционный саботаж), виновные будут расстреливаться. Максимальная пайка при выработке нормы на 110 % — 675 грамм хлеба, при выработке на 100 % — 525, штрафная пайка — 275 грамм».

Последним заявлением была нарушена старая лагерная пословица: «Дальше солнца не загонят, меньше триста не дадут».

Проведя вторичный обыск, нас запустили в зону, распределили по баракам. Постельных принадлежностей не завезли, поэтому приходилось спать на голых нарах. Первые два дня нам не давали обеда; мы решили, что не успели завезти

продукты. Но в течение полутора месяцев лагерь жил на одном хлебе.

Выработки леса в окрестностях лагпункта были закончены давно, и бригады водили на работу за десять километров. Отсутствие горячей пищи, пониженная норма хлеба, десятикилометровые походы на работу, одиннадцатичасовый рабочий день (причем время на дорогу не входило в рабочее) — все это привело к тому, что за два месяца войны зэки превратились в доходяг. Все зэки, осужденные по 58-ой статье, были сняты с привилегированных должностей: бухгалтеров, кладовщиков, врачей и т. д. Сергей Федорович теперь тоже работал в лесу.

В начале августа наш цех опять перебросили на другой лагпункт — Большая Косалманка, который находился вблизи железной дороги. Рядом была женская зона и громадная биржа, на которой работали женщины и мужчины. На работу приходилось проделывать путь в 5–7 километров. Попав в подростковую бригаду, я стал ходить на биржу. В это время соседний колхоз выпускал туда пастись стада коз и баранов. Мы решили подкормиться: вылавливали какое-нибудь животное, расправлялись с ним и варили в ведре мясо. Добыча делилась поровну. Так мы от нестерпимого голода грабили колхозный скот. Недосчитавшись около 70 коз и баранов, колхоз перестал выпускать скот на биржу.

Наступила осень. Срочно началась выборочная рубка леса. Выбирали, в основном, березу и выпиливали из нее лыжную болванку, ружьевую болванку и ствольную накладку. Военное ведомство лицам, выполнявшим норму на этих ассортиментах, добавляло к пайке сто грамм хлеба и одну пачку махорки в неделю. И хотя к этому времени уже стали варить жидкие супы и давать немного каши, голодным зэкам ничего не помогало. Норму никто не выполнял. Богатыри — грузины и кубанцы — превратились в еле передвигающихся доходяг. Если до войны платформу со стройлесом грузили до обеда четыре человека, то сейчас ее грузили сто человек в течение всего рабочего дня. Люди умирали — на работе, в зоне. На всех историях болезни значилось «АД-2» (дистрофия) и «ББО» (безбелковые отеки).

Наступила зима. Однажды мы проснулись и увидели, что около зоны стоит большой эшелон. Обычно так доставляли этап. Но никого не высаживали. Конвоиры бегали по зоне и искали людей, которые могут управлять лошадьми. Наконец, собрали бригаду и под конвоем повели на конюшню. Там запрягли — кто волокуши, кто сани. Всю эту кавалькаду подогнали к эшелону.

Стали открывать двери. В вагонах лежали люди. Этап пришел

из ББК. Женщины с Медгоры[43] двигались сами, мужчины ходить не могли. В каждом мужском вагоне на 40 человек было по 5–6 мертвецов. Где-то около Череповца штабной вагон этапа был разбомблен, и все личные дела зэков погибли, так что люди, которых привезли, формально не имели срока и записывали свои данные сами. Этап шел около двух месяцев. Сначала им выдавали по кружке муки, а последние десять дней совсем не кормили. Когда люди на станциях кричали о помощи, конвой стрелял по окнам, заявляя, что везут фашистских предателей. Мужчин вывозили на лошадях; живых — в зону, мертвых — на лагерное кладбище. Тогда я и попал в бригаду, которая рыла могилы. Рытье было примитивным: мы жгли большие костры, потом разгребали талую землю. В образовавшиеся большие ямы сваливались трупы (по 15–20 человек). Еще исполнялись старые традиции — каждому умершему вешали на ногу деревянную бирку с выжженным на ней номером.

Как-то раз около нашей биржи остановился эшелон эвакуированных. Перевозили какой-то завод с Украины. Тут же стояли станки, около станков сбитые наспех домики, где ютились люди. Мы с ними переговаривались. Они нам кидали хлеб, табак, сахар. Эвакуированные с удивлением спрашивали:

— А кто вы такие?

— Заключенные.

— Не может быть. У нас всех освободили, как раз перед подходом немцев.

Кто-то из наших с иронией смертника пошутил:

— Ну, когда сюда немцы подойдут, может быть, и нас освободят.

Как впоследствии выяснилось, эвакуированные были не совсем правы. Мне достоверно известно, что при подходе немцев, например, в Белоруссии конвой расстреливал политических в лагерях и тюрьмах — прямо в камерах. Так, например, было в Минске.

В конце октября к Сергею Федоровичу приезжала на свидание жена. Свидания не дали, но старший надзиратель устроил ему «по блату»[44] встречу на бирже во время работы. К тому времени Сергей Федорович походил на скелет, обтянутый кожей, и те 15 килограмм съестного, что привезла жена, были каплей в море. Пришел он со свидания совершенно убитый: жена рассказала ему о событиях 16 октября в Москве. Это был страшный для Москвы день. Разнесся слух, что Сталин и другие члены правительства покинули город. Тогда все, кто мог, ринулись на вокзалы и пешком по шоссейным дорогам. А в это время на Лубянке летел пепел сжигаемых бумаг, грабили

магазины и склады.

Передача была съедена быстро. И снова наступили голодные дни. Сахара нам давно уже не давали, мяса и жиров тоже. Но тут случилась еще одна беда — на складе кончилась соль. Больше месяца лагерь жил без соли, и спичечная коробка соли стоила три пайки хлеба по 675 грамм. Бессолевая «диета» еще больше подкосила людей.

Рассказ «Соль»

Весной 1942 года на комендантском л/п Карелино Севураллага кончилась соль.

Ко всем бедам это был ощутимый довесок. Многие не находили себе места. Их тошнило от бессолевой затирухи[45] и хлеба. Хотя все были голодны астрономически, спичечная коробочка соли сначала стоила 100 грамм хлеба, а через месяц высшую пайку — 675 гр. И так уже истощившийся организм еще более слабел, не получая соли. Весь лагерь представлял из себя дантово чистилище, только тени передвигались со скоростью в десять раз меньшей, чем у Данте. Одну платформу со строевым лесом, которую до войны грузили за три часа 4 человека, сейчас по 10 часов грузили 200 человек, по 90 за веревку, а грузом своего легковесного тела пытались вкатить бревно. «Раз, два, взяли». Этот напев звучал как из-под земли.

Как-то утром на транзитном пути остановился эшелон платформ. На них лежало что-то белое, похожее на соль. Люди бросились к эшелону. Бойцы на вышках несколько раз выстрелили в воздух. Они не боялись, что кто-то убежит, зная, что все дошли. Так стреляли, для порядка. Люди пробовали белые кристаллы, они казались солеными, и все поголовно набивали этой «солью» карманы, шапки и другие тряпки. Ночью людей с сильными рвотами потащили в больницу. Около 300 человек умерло. Это была селитра.

* * *

В декабре мне повезло: бывший плановик Житомирский устроил меня помощником дневального в барак погрузочной бригады. Эта бригада была через день откомандирована на соседний лагпункт — Обжиг. Вещи их остались в бараке, и мы их караулили с дневальным, здоровенным рябым жуликом Мишкой по кличке Жеребец. Стояли трескучие морозы. В скором времени

мы с Мишкой начали систематически обворовывать вещевую каптерку. Она находилась недалеко от нашего барака, ночью ее караулили эстонцы из хозобслуги.

В начале июня 1941 года во всех прибалтийских республиках происходило массовое выселение. Части особого назначения НКВД по заранее приготовленным спискам арестовывали людей из буржуазных семей: мелких лавочников, служащих учреждений, бывших дворян, бывших сотрудников полиции. Каждому разрешалось взять с собой 16 килограммов вещей, включая сюда и продовольствие. Семьи разделяли — мужчин и женщин везли отдельно; в пульмановский товарный вагон заталкивали по 60 человек. Из Риги, по словам прибывших, было отгружено 12 эшелонов; из Таллина и Вильнюса примерно столько же. К началу войны почти все эти эшелоны прибыли в районы Горького и Перми, а к 1 июля они стали прибывать в Уральские и Североказахстанские лагеря. Питание во время этапа было очень плохое, и когда эшелоны разгружали, люди еле-еле выходили из вагонов.

К нам, в 7-ое отделение Севураллага, прибыли два эшелона из Риги, один из Таллина и один из Вильнюса. Все прибывшие по нашим представлениям были одеты как «короли»: прекрасные костюмы, ботинки, пальто. Очень быстро они были приведены в надлежащий вид. Им, например, продавали мешочки с сахаром, в которых сахар был только сверху, а под ним находился речной песок. Прибалты были очень доверчивыми людьми, не привыкшими к надувательству. Через месяц они все ходили в лагерном обмундировании третьего срока и ползали по помойкам. Помню, как секретарь президента Литвы, обессилев, не мог выбраться из мусорного ящика, куда он залез за тухлыми рыбьими головами.

В октябре месяце всем прибалтам объявили решение ОСО: каждый из них был осужден на 10 лет. Обвинение у всех было одно — КРД. Особо разговаривать мне с ними не приходилось, но я помню, что они презирали русских за бескультурье и нищенскую жизнь. Насчет культуры вопрос спорный — не только прибалты, но и многие представители западной интеллигенции, попадавшие к нам в лагеря, оказывались гораздо менее образованными, чем представители русской интеллигенции.

Так как было очень холодно, эстонцы, караулившие каптерку, бегали греться каждые 5 минут в контору. Миша сделал слепок с замка и изготовил ключ; когда сторожа уходили, мы выскакивали, открывали замок, и кто-то один залезал в каптерку. Другой его закрывал, а минут через 15, когда сторожа опять уходили, дверь открывалась, и из каптерки выносились вещи. Старались брать,

главным образом, телогрейки, валенки, простыни, все новенькое — первого срока. Затем мы все упаковывали в мешки и относили на вахту. Вахтер рассчитывался с нами хлебом, мясом, махоркой и сахаром. Оплата была мизерная: за две новых телогрейки, пару валенок и три простыни он давал буханку хлеба, полкилограмма мяса, две пачки махорки и кусочков пять сахара. Как-то раз он нам принес спирту. Каптеров, заявлявших о недостаче, снимали с работы. Так прошло два месяца.

К нам в зону изредка приходили женщины на прием к врачу. Обычно это были воровайки. Мишка крутил с ними «романы», а я от них сбегал.

Чем мог, я помогал Сергею Федоровичу, потому что находился в гораздо более благоприятном положении. Его гоняли в лес за несколько километров, но он уже еле-еле ходил, а, значит, и не мог пилить. Он занимался «лечением» баланов (бревен): имея два флакончика с химическими жидкостями, отмывал приемные метки и потом сдавал эти бревна, как будто спилил их сам. Нужно было выполнить хотя бы 20 % нормы, чтобы получить 450-граммовую «гарантийную» пайку.

К весне меня отправили на комендантский лагпункт Карелино. Там положение было еще хуже: из 2000 человек на работу ходило всего только человек сто. Каждый день умирало от 10 до 20 человек. Живые разлагались на глазах.

Всю зиму нас мучили вши. Никакие прожарки и бани не могли их вывести. Мы избавлялись от них, снимая рубашку и кальсоны и держа их над раскаленной печкой. По три-четыре раза в день мы поджаривали до сотни жирных «бекасов»[46]. Весь день мы чесались, это была жуткая пытка.

С первых дней войны большинство осужденных по 58-ой статье подавали заявления на фронт, но ответа на них не получали. Людей, отбывших пятилетние сроки, задерживали в лагерях по формулировкам «до особого распоряжения» и «до окончания войны». Сроки у них окончились, в основном, в 1942 году, но досидели они до 1948 года.

Один из французских коммунистов написал несколько заявлений на фронт; не получив ответа и совсем дойдя, он однажды, когда их вели на работу, побежал в сторону. Это происходило на глазах у всей бригады. Конвоир дважды выстрелил в него и ранил в обе ноги. В больнице он объявил голодовку, но никто не собирался его поддерживать питанием, и на девятые сутки он скончался.

Весной 1942 года в свободные зоны нашего лагеря (образовавшиеся за счет колоссального количества умерших) привезли немцев Поволжья. Иногда они работали вместе с нами

на бирже. Они рассказывали, как их выселяли. Воинские части МВД, ничего не объявляя, выгоняли их поголовно из домов, сажали в грузовики и доставляли к железной дороге, а там грузили в эшелоны. Весь их скот остался беспризорным, и солдаты, балуясь, стреляли по нему. Громадное количество скота погибло просто так.

На комендантском лагпункте я застал жуткую картину. Все бараки, кроме одного, были превращены в больничные стационары. А та сотня людей, которая еще могла ходить на работу, с наступлением сумерек слепла. Это был авитаминоз, который в простонародье называется «куриная слепота». Со мной этого не происходило, но, чтобы не отличаться от других, я симулировал слепоту. Все вечерние работы (в основном это была погрузка железнодорожных вагонов) были приостановлены. Даже лагерное начальство, которое до этого не считалось с врачами, не осмеливалось выгонять невидящих людей в ночь. Через некоторое время в лагере стали выдавать по сто грамм бараньей печени на человека. Через несколько дней зрение у большинства восстановилось.

В июле 1942 года в лагерь привезли прелую ржаную муку. Все бригады были брошены на ее разгрузку. Многие ели муку в сыром виде, а потом в лагере из этой муки начали варить затируху. Соли было мало, и затируха была ужасная на вкус. Но давали ее «от пуза», т. е. сколько хочешь, и оставшиеся в живых стали на вид поправляться как на дрожжах, но поправка эта была мнимая, люди продолжали отекать, и многие все равно умирали. Как-то привезли свеклу; ее выдавали по штуке на человека; лица и тела у всех стали красного цвета…

В это время, по слухам, из Москвы приехала комиссия по проверке лагеря. Многих зэков вызывали и расспрашивали о питании и режиме первого военного года. Комиссия работала около месяца. Были арестованы все начальники лагпунктов, старшие надзиратели и начальники конвоя. В августе их судили, многие зэки выступали свидетелями. Администрация обвинялась в произволе, в избиениях, в расстрелах, в урезке питания и т. д. Всех приговорили к разным срокам с бытовавшей уже тогда формулировкой — «замена фронтом».

Вновь прибывшее начальство состояло, в основном, из раненых фронтовиков, и жить в лагере стало заметно легче. Конвоиры и надзиратели разговаривали с нами, питание несколько улучшилось, цинготникам стали давать пророщенный горох. Впервые были образованы ОПП (оздоровительно-профилактические пункты). В нашем ОПП поместили на два месяца наиболее дошедших. В ОПП зэки не работали и их

довольно неплохо кормили: 800 грамм хлеба, суп, два раза каша, 20 грамм сахара, 20 грамм масла, 100 грамм мяса или рыбы. Выдавали также по 20 грамм рыбьего жира и два раза в день по столовой ложке никотиновой кислоты. В столовой появились бочки с настоем хвои, раньше никто не знал, что им можно лечиться от цинги.

Вольный врач, выпускница Московского мединститута, несмотря на то, что я был в довольно хорошем состоянии, зная, что мне осталось до конца срока два месяца, определила меня в ОПП. Я не верил, что меня освободят, так как всех задерживали. За семь дней до конца срока я выписался из ОПП. Чтобы не мучиться эти последние дни, я выпросил в санчасти люминал; утром, съев пайку, принимал его с кипятком и спал целый день. На работу меня не будили. Наступил день освобождения. Я, сонный, поплелся в УРЧ (учетно-распределительная часть), где мне спокойно объявили, что задерживаюсь до особого распоряжения. Меня предупредили, что с завтрашнего дня я должен выходить на работу.

Как раз в этот день с Большой Косалманки прибыл с этапом Сергей Федорович. На следующий день мы вышли в лесное оцепление. Зашли в глубь леса и долго, сидя у костра, беседовали. Я предлагал различные проекты: побег, голодовка, еще одно заявление на фронт, или убить кого-нибудь из ненавистных начальников. Сергей Федорович отверг все эти предложения. Он напомнил мне, что я не один, что сейчас никого не выпускают, а за побег и за голодовку судят как за контрреволюционный саботаж. Он рассказал, что недавно на Большой Косалманке расстреляли несколько человек, которые рассуждали в бараке по поводу окружения наших войск под Харьковом весной 1942 года. Несколько дней, ничего не делая, мы провели у костра. Бригадир, видимо, заявил начальству, и нас перевели на биржу. На бирже все было как на ладони, и нам приходилось, хотя и не в полную силу, участвовать в погрузке железнодорожных вагонов. Мимо проходили эшелоны с ранеными, которые снабжали нас махоркой, а иногда перепадали хлеб и сахар.

Прошел месяц, как вдруг меня неожиданно вызвали на этап. Куда, мне не сообщили; я и мои друзья терялись в догадках. Мы предполагали, что меня хотят увезти и рассчитаться за то, что я был одним из главных свидетелей по делу лагерной администрации. Вечером меня сдали в проходящий «Столыпин», и я поехал на Север. Через несколько часов мы прибыли на станцию Сосьва — там находилось управление Севураллага. Там же находился и штрафной лагпункт. По рассказам, это был один

из самых страшных лагерей, и я решил, что меня везут туда.

Там был такой произвол, что администрация даже не входила в зону, хлеб перебрасывали через забор; царила жульническая анархия, и простого мужика наверняка ждала смерть, или ему нужно было пресмыкаться перед жуликами.

Но, вопреки моим предположениям, меня поместили в центральный изолятор. Я просидел в нем около 10 дней. Как-то вечером меня вызвали и повели неизвестно куда; один конвоир шел впереди, другой — сзади. Мы шли по узкой тропинке, и мне все время казалось, что меня сейчас пристрелят.

Пройдя километра два, мы вышли к большому одноэтажному деревянному дому, освещенному электричеством. Мы вошли в здание и подошли к одной из дверей. На ней было написано: «Начальник оперчекистского отдела Севураллага полковник Петров». Дверь распахнулась, я вошел, конвоиры остались за дверью.

Комната была большая, в ней был стол, диван и книжные шкафы. За столом сидел седой полковник, рядом с ним две женщины.

— Здравствуйте, садитесь, — сказал полковник, указывая на кресло, а затем обратился к женщинам: — Ну, посмотрели, теперь идите.

Женщины вышли, мы остались вдвоем. Полковник сказал:

— Вот вы, оказывается, какой. А я думал, что вы взрослее и крупней. Учтите, что я о вас знаю все. Я думаю, что в основе своей вы советский человек и сделаете все, чтобы искупить вину своего отца.

— Я не знаю, в чем вина моего отца. В лагере я получил много свидетельств, что он не был ни в чем виноват.

— Мы не будем сейчас в этом разбираться. Он осужден как изменник родины, а вы должны доказать, что вы настоящий советский человек.

— Я подавал несколько заявлений на фронт и рад был бы отдать свою жизнь за родину.

Полковник нажал кнопку, и в комнату вошла девушка с подносом, на котором был бифштекс с жареной картошкой, два бутерброда с колбасой и графин с вином.

— Вы сейчас покушаете, а потом мы с вами поговорим, — сказал полковник и, закрыв на ключ сейф и ящики стола, вышел из комнаты.

Минуту поколебавшись, я решил пожрать. Вино было слабенькое; мясо и колбаса были очень вкусны. Когда я все съел, у меня появилась потребность покурить. В этот момент, как в сказке, появился полковник и, не дожидаясь моей просьбы,

преподнес пачку «Казбека». Потом он сказал:

— Завтра вас отправят обратно на 7-ой лагпункт, мы вас решили освободить. В лагере об этом никому не говорите. Через некоторое время вас отправят в Свердловск, где устроят работать и учиться. Я думаю, вы оправдаете наше доверие.

Меня увели, а на следующий день я благополучно прибыл на станцию Карелино. Я рассказал все Сергею Федоровичу. Он долго молчал, а потом сказал:

— Ну, что ж, сынок, у тебя начинается танец на острие ножа. Смотри, не поскользнись, а то нож вонзится прямо в бок. С этими господами игра очень опасна.

Через 5 дней меня вызвали на освобождение. Я получил буханку хлеба, две селедки и вышел за зону. Неизвестный человек в штатском проводил меня в управление. В кабинете оперуполномоченного мне дали переодеться в лагерное обмундирование первого срока, дали два куска сахара и банку консервов. Вечерним поездом мы отправились в путь в отдельном купе и утром прибыли в Свердловск. На машине меня отвезли в областное управление НКВД. Там я был принят человеком в штатском; он взял с меня подписку о невыезде из Свердловска и сказал, что меня поместят в общежитие политехникума и определят на учебу. Он предупредил меня, что в городе живут мои знакомые Светлана Тухачевская, Виктория Гамарник и Гизи Штейнбрюк, что за мной будут наблюдать, и что за разглашение сведений о лагерях меня привлекут к уголовной ответственности по ст. 121 УК. Он предупредил также, что меня периодически будут вызывать и беседовать со мной. После этого он вызвал человека, который отвез меня в общежитие ВТУЗ'овского городка.

1971 год

notes

Примечания

1

Т. е. Петю Якира — *Ю. Т.*

2

Пристегнутый без всякой связи к процессу Гинзбурга-Галанскова (1968) «свидетель» из Венесуэлы.

3

«Безвинность» И. Якира в инкриминировавшемся ему бесспорна. — *Ю. Т.*

4

Маленький полугрузовой автомобиль.

5

То же, что гашиш — наркотик, добываемый из индийской конопли.

6

Фабрика, изготовляющая тару.

По Мал. Сов. Энцикл. (1937) — лишь частичная амнистия.

8

Воспитанники детского дома (приюта).

9

Обыск.

10

Мальчишка.

11

Горошинка наркотика.

12

Уголовная.

13

Закрытый автомобиль темного цвета, в котором в СССР перевозят арестантов.

14

Тюремные заключенные.

15

Разносчик баланды (тюремной похлебки).

16

Обвиняемые по одному и тому же делу.

17

Заключенные.

18

Железнодорожные вагоны для перевозки арестантов, по преданию построенные по распоряжению дореволюционного премьер-министра П. А. Столыпина.

19

Прожарка — сильное нагревание одежды с целью уничтожения насекомых.

20

«Полноценные» уголовники, соблюдающие правила уголовной этики и не вступающие в какие-либо сделки с тюремной администрацией.

21

Фамилия, имя, отчество.

22

Знаменитый советский летчик, герой гражданской войны в Испании.

23

Военно-воздушные силы.

24

Киевский военный округ.

25

Донёс.

26

Известный фильм, в котором показывалось перевоспитание беспризорных детей.

27

Знаменитый советский педагог, создатель методом советского общественно-трудового воспитания.

28

Убийца Кирова.

29

Видные советские военачальники, расстрелянные в самом начале войны за неудачные операции против немцев.

30

Поднимать руку — просьба подвезти.

31

Погибнешь.

Оперуполномоченные.

33

Те, кто не принадлежат к блатному миру.

34

Барак усиленного режима.

35

Пренебрежительное название одежды.

36

Уже после того, как эта книга была написана, 29 июля 1971 г. Анатолий Марченко освободился из заключения, отбыв свой срок.

37

В запретную зону.

38

«Доходить» — постепенно лишаться сил (от голода, непосильной работы). Отсюда — «доходяга» (медленно умирающий от истощения человек).

39

Желающие победы игроку и переживающие, «болеющие» за него.

40

Рыба, водящаяся в советских дальневосточных реках Амур и Уссури.

41

Сгущенное молоко.

42

Украинская поговорка.

43

Медвежья гора.

Незаконно, путем протекции.

45

Кушанье из затертой муки.

Вши.